

Ф. И. ТЮТЧЕВ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЦАРСКОЙ РОССИИ

Статья К. Пигарева

„Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно,... вот он входит в ярко освещенную залу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробирается нетвердой поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание... Он ни на чем и ни на ком не остановился, как-будто б не нашел, на что бы нужно обратить внимание... К нему подходит кто-то и заводит разговор... он отвечает отрывисто, сквозь зубы... смотрит рассеянno по сторонам... кажется ему уж стало скучно: не думает ли он уйти назад... Подошедший сообщает новость, только-что полученную, слово-за-слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... Вот он роняет, сам не примечая того, несколько выражений, запечатленных особенною силой ума, несколько острот едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шопотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что сказал вчера на бале у княгини Н...“ Таков портрет Тютчева, написанный М. П. Погодиным¹.

Может быть впрочем почитателям поэта больше придется по сердцу другой его портрет: низенький, худенький старичок, но весь закутанный в теплый плед—таким предстает он перед нами на маленькой фотографической карточке, таким—„не замечая и удивляя прохожих“—бродил он по улицам Петербурга, а вернувшись домой небрежно ронял встретившей его жене или дочери: „j'ai fait quelques rimes“.

Но это—портрет „романтический“. Романтика затемняет восприятие действительности. Романтикой сплошь пропитана „легенда о Тютчеве“. И теперь, когда мало-помалу эта легенда рассеивается, уступая место правде, реалистический портрет Тютчева должен быть предпочтен романтическому.

Заслужив небольшой книжкой своих стихов бесспорное право на одно из первых мест в истории русской поэзии, Тютчев прожил свою почти семидесятилетнюю жизнь отнюдь не жизнью писателя, литератора. Сам он пребывал вне узко литературных партий и группировок. Одними литературными интересами он ограничиться не мог. Заседание Общества Любителей Российской Словесности, возродившегося в 1859 г. после тридцатилетнего перерыва, кажется ему „ребячеством“ и в письме к жене он едко смеется над ним: „Положительно, Москва—архилитературный город, где все—писатели и читатели—в высшей степени серьезно смотрят на самих себя... Но я не в состоянии был бы существовать в этой среде, столь высоко мнящей о себе и столь глухой ко всем отголоскам извне. Например, я вовсе не уверен, что такое ребячество,

как вчерашнее заседание, не перевесит — и даже сильно — в глазах московской публики интереса к грозным событиям, назревающим на Западе². А ведь сам Тютчев был одним из старейших членов Общества Любителей Российской Словесности... В обширном эпистолярном наследии Тютчева литературные вопросы занимают не много места. Политикой он всегда интересовался в неизмеримо большей степени, чем литературой.

„Написать жизнь Тютчева мне кажется невозможным, — писал после смерти поэта его шурин Карл фон Пфедфель. — Пожалуй даже такое жизнеописание представило бы меньший интерес, чем можно ожидать; разве что оно будет связано с изображением тех общественных групп, среди которых он жил и где сосредоточивалась (слишком исключительно на мой взгляд) его деятельность. Но одна или две журнальных статьи, по образцу Сент-Бева, читались бы столь же охотно, как и любая из „Понедельничных бесед“ (Causeries du lundi), касающаяся людей гораздо менее замечательных. Первая из этих статей могла бы иметь предметом молодость Тютчева вплоть до 1844 года, эпохи его возвращения в Россию; вторая — последние годы его зрелого возраста и старость, обнимая весь период его национальной деятельности³“.

Современники иногда оказываются более чуткими, чем потомки. Баварский родич Тютчева обнаружил известного рода проницательность. И неожиданный по отношению к Тютчеву термин „национальная деятельность“ приобретает действительный смысл, если только несколько уточнить его — сказать хотя бы: общественная деятельность. Ибо несомненно, что подлинным местом службы Тютчева был не Комитет Цензуры Иностранной, а петербургские салоны и гостиные. „Настоящею службой его была беседа в обществе“, замечает тот же Погодин. И он прав...

До тех пор, пока биографы недоуменно пасовали перед тем сложным и в высшей степени своеобразным „явлением“, которому имя — Тютчев, они, естественно, не могли дать такого жизнеописания поэта, о каком говорил Пфедфель. Однако жизнь Тютчева приобретает действительный интерес только на фоне широкой социально-политической перспективы, в связи с „жизнеописанием“ той среды, в которой вращался поэт. Только тогда становится совершенно ясным, каким классовым верованиям и интересам служил Тютчев.

Очерк, предлагаемый вниманию читателей, как явствует из самого его заглавия, — не биография. Факты чисто биографические служат в нем лишь вехами. Его главная цель — облегчить понимание печатаемых ниже неизданных архивных документов (преимущественно писем самого Тютчева), объединенных вокруг одной темы — русской внешней политики. Тем самым суживаются и задачи настоящей статьи, не претендующей на полный обзор всех высказываний Тютчева на внешнеполитические темы.

Журнальные рамки не позволили мне исчерпать весь имевшийся в моем распоряжении материал. Из писем Тютчева к разным лицам полностью печатаются лишь письма к кн. А. М. Горчакову. Из обширной переписки Тютчева с А. Ф. и И. С. Аксаковыми дается несколько выбранных писем, служащих как бы „оправдательными документами“ к настоящему очерку.

I

1822 г. июня 11 — „день, в который мы с Федором Ивановичем выехали из Москвы в Баварию“, записал в числе прочих знаменательных событий из жизни Тютчева его дядька Николай Афанасьевич Хлопов⁴.

Приблизительно через месяц русский посланник в Мюнхене гр. Воронцов-Дашков доносил своему начальству в Петербург: „Новый атташе

при моей миссии г-н Федор Тютчев только что приехал. Несмотря на малое количество дела, которое будет у этого чиновника на первых порах его пребывания здесь, я все же постараюсь, чтобы он не зря потерял время, столь драгоценное в его возрасте⁵.

В Мюнхене—за продолжительными отлучками—Тютчев провел целых пятнадцать лет: до 1828 г.—сверхштатным чиновником, а с 1828 по 1837 г. вторым секретарем при русской миссии.

Верная принципам „Священного союза“ Россия в то время стояла на страже европейской реакции. К числу тех государств, на которые в особенности простиралось „отеческое попечение“ царского правительства, было королевство Баварское, одна из наиболее крупных политических единиц, входивших в состав Германского союза.

Бавария в то время все еще оставалась полуфеодальным государством, и конституционные короли—будь то Максимилиан I Иосиф или его сын Людвиг I—верно следовали заповедям опекунов европейского status quo и считали „полезными и необходимыми“ лишь те изменения в законодательстве и управлении, которые проистекали из „свободной воли, обдуманного и просвещенного решения тех, кому господь вверил власть“.

Такова была в общих чертах та международная политическая „обстановка“, в которой очутился молодой Тютчев. Задачи русской императорской миссии в Мюнхене не исчерпывались целями обычного дипломатического представительства. Это был один из органов политического контроля за точным выполнением со стороны баварского правительства тех принципов международной политики, которые были выработаны эпохой конгрессов.

Недаром Нессельроде всячески хлопотал о том, чтобы сплотить крупные и мелкие, немецкие дворы вокруг „единственного залога порядка общественного“—монархического русско-австро-прусского союза. Всякие шероховатости в их отношениях с одной из двух германских держав—опекунш привлекали поэтому зоркое внимание петербургского кабинета. Так например, русский посланник в Мюнхене Потемкин доносил по поводу отказа баварского короля утвердить временное торговое соглашение с Пруссией: „достойно опасений, как бы отзыв размовки, возникшей по вопросам чисто коммерческим, не отразился пагубно на политических отношениях германских государств между собою, а это было бы тем более прискорбно, что в настоящее время одно единодушие—и единодушие самое искреннее—может действительным образом предохранить их от беспрестанно возобновляемых попыток революционной пропаганды“⁶.

Другой задачей царской дипломатической миссии в Мюнхене была поддержка русского престижа, как в глазах баварского правительства, так и в глазах немецкого общественного мнения. В этих целях печатные информации о таких событиях, как восстание декабристов, исходили непосредственно из канцелярии русской миссии. О всех своих политических успехах русский двор немедленно сообщал баварскому, а последний спешил порадоваться русским успехам. В Архиве Внешней Политики хранится один любопытный документ, характеризующий отношения двух дворов между собою. Документ этот приобретает для нас тем больший интерес, что он теснейшим образом связан с именем Тютчева.

12 октября 1829 г. русский посланник в Мюнхене И. А. Потемкин отправил гр. Нессельроде следующую депешу:

„Ваше сиятельство,

в одной из газет этой столицы появилось стихотворение короля баварского, обращенное к его величеству государю императору, нашему

августейшему монарху. Этот плод поэтического таланта короля, относящийся к прошлому году и с соизволения его величества появляющийся в печати в ту самую минуту, когда торжество наших армий столь блестящим образом осуществляет пожелания и чаяния августейшего поэта, представляет собою без всякого сомнения слишком замечательный памятник чувств и настроений его величества, чтобы я не поспешил представить его на обозрение вашего сиятельства.

Пьесу в оригинале ваше сиятельство найдет, в приложенной печатной вырезке, к которой я беру на себя смелость присоединить русский ее перевод в стихах, исполненный вторым секретарем императорской миссии камер-юнкером Тютчевым⁷.

К депеше приложена вырезка из какой-то газеты с сообщением: „Карманная книжка для дам на 1830 год содержит следующее стихотворение короля баварского: Российскому императору, летом 1828“. Не привожу здесь длинного и весьма слабого немецкого текста, так как смысл его в общем довольно точно передан в русском переводе Тютчева, до сих пор ни разу не появлявшемся в печати. Текст стихотворения таков:

Императору Николаю I.

О, Николай, народов победитель,
Ты имя оправдал свое! Ты победил!
Ты, господом воздвигнутой воитель,
Неистовство врагов его смирил...
Настал конец жестоких испытаний.
Настал конец неизреченных мук.
Ликуйте, христиане!
Ваш бог, бог милости и браней,
Исторг кровавой скиптр из нечестивых рук.

Тебе, тебе, послу его велений, —
Кому сам бог вручил свой страшный меч, —
Известь народ его из смертной тени
И вековую цепь на век рассечь.
Над избранной, о царь, твоей главою
Как солнце просияла благодать!
Бледнея пред тобою,
Луна покрылась тьмою —
Владычеству Корана не восстать...

Твой гневный глас послыша в отдалении,
Содроглися Османовы врата;
Твоей руки одно лишь мановенье —
И в прах падут к подножию креста.
Сверши свой труд, сверши людей спасенье.
Реки: да будет свет — и будет свет!
Довольно крови, слез пролитых,
Довольно жен, детей избитых,
Довольно над Христом ругался Магомет...

Твоя душа мирской не жаждет славы,
Не на земное устремлен твой взор.
Но тот, о царь, кем держатся державы,
Врагам твоим изрек их приговор...

Он сам от них лицо свое отводит,
Их злую власть давно подмыла кровь,
Над их главою ангел смерти бродит,
Стамбул исходит —
Константинополь воскресает вновь...

Т. 8

Приведенное стихотворение с достаточной яркостью характеризует отношение мюнхенского двора к петербургскому — опекаемого к опекающему. Теперь для полноты картины не мешает выяснить, каково было отношение к России в придворных слоях, в кругах мюнхенской литературной интеллигенции, куда, кстати сказать, был вхож и Тютчев. В данном случае конечно гораздо труднее делать какие бы то ни было обобщения, но несомненно одно. Подавление польского восстания знаменует поворотный пункт в отношении немецкого общественного мнения к России. С этого времени немецкая передовая общественность осознает кровную связь между русским деспотизмом и деспотизмом общеевропейским. До этого же времени ее представление о России было довольно-таки смутным. Вот например, какие размышления вышли из среды немецкой радикальной буржуазии под впечатлением тех же событий, которые вдохновили коронованного рифмача: „... при постоянной странной смене лозунгов и представителей в великой борьбе, обстоятельства сложились так, что самый пламенный друг революции видит спасение мира только в победе России... Если в отношении свободы сравнить Англию с Россией, то даже у самого боязливого человека не останется колебания, к какой партии ему примкнуть. Свобода в Англии вышла из исторических событий, в России из принципов... Те принципы, из которых возникла свобода русская, или, вернее говоря, из которых она ежедневно развивается все больше и больше, — это либеральные идеи нашего новейшего времени. Русское правительство проникнуто этими идеями; его неограниченный абсолютизм есть скорее диктатура для непосредственного проведения в жизнь этих идей. Это правительство не имеет своих корней в феодализме и клерикализме: напротив, Россия демократическое государство, я назвал бы его даже государством христианским, если бы хотел применить это, часто злоупотребляемое слово в его отраднейшем, самом космополитическом смысле, потому что русские, уже благодаря объему их государства, свободны от узкосердечия языческого национального чувства“⁹⁴.

Это писал... Генрих Гейне в своих „Путевых картинах“. А между тем эти страницы следовало бы занести в формулярный список Тютчева. Гейне проводил долгие часы у своего „лучшего мюнхенского друга“ и конечно именно из этих бесед составил себе столь неожиданное для него представление о России. Привлечь перо Гейне на сторону России — это крупная, хотя быть может и бессознательная удача русской дипломатии. Здесь мы впервые сталкиваемся с тем, что Погодин назвал „настоящей службой“ Тютчева.

Какова же была официальная, но не настоящая его служба?

На первых порах своего пребывания в Мюнхене у него повидимому было мало дела. Поэт переписывал или писал под диктовку своим каллиграфическим почерком, столь разнящимся от его позднейшего „griffonage“, разные дипломатические бумаги, большей частью информационного характера. С назначением Тютчева вторым секретарем при миссии ему поручается составление депеш более серьезного содержания. И в тех случаях, когда предмет интересовал поэта, составляемые им депеши превращались в своеобразные литературные произведения. Таков

например опубликованный несколько лет назад „проект“ дипломатической депеши по поводу греческих дел, отличающийся всеми основными особенностями тютчевского эпистолярного стиля.¹⁰

„Проект“ депеши по поводу греческих дел представляет для нас интерес и в другом отношении, как свидетельство об единственном ответственном поручении, выполненном Тютчевым за время его службы в Мюнхене. В 1833 г. он был послан в Навплию, столицу незадолго до того образовавшегося при участии России, Англии и Франции греческого королевства. В 1832 г. на греческий престол был возведен второй сын баварского короля Оттон и ввиду несовершеннолетия последнего при нем было учреждено регентство из трех баварцев, тотчас же возбудившее неудовольствие царского правительства своим образом действий „во внешних сношениях“. Разъяснить членам регентства, что именно в их поведении подавало повод к жалобам, и было поручено Тютчеву.

Мы не знаем, как справился Тютчев с этой задачей. Депеша же, составленная им по возвращении в Мюнхен, приобретает особенную остроту, если мы взглянем на нее не с точки зрения греческих дел, а с точки зрения соперничества России с Англией за преобладающее влияние в Греции. В сущности за этим скрывался все тот же восточный вопрос, а потому именно Англия и не могла допустить усиления русского влияния в южной части Балканского полуострова. Несмотря на шутивную и ироническую форму, в депеше проглядывает весьма четкая дипломатическая программа, которая должна бы была приттись по сердцу петербургскому кабинету: убедив баварского короля „сохранить за собой верховное руководство“ в деле политических сношений Греции с иностранными правительствами, тем самым перенести греческое министерство иностранных дел из Навплии в Мюнхен, где оно было бы под надежным прикрытием от дующих с моря английских веяний. Но все это было выражено в такой шутивной и иронической форме, что тогдашний русский посланник в Мюнхене кн. Г. И. Гагарин нашел депешу „недостаточно серьезной“ и она не была отправлена в Петербург.

Нельзя не признать, что на одном литературном таланте дипломату не легко было построить свою карьеру. И Тютчеву не повезло на дипломатическом поприще. В одном из своих писем к родителям он не без горечи жалуется на то, что ему суждено было, оставаясь на том же месте, „пережить“ всех своих сослуживцев и при этом „не унаследовать“ их должностей. Неизвестно, сколько времени пробыл бы Тютчев в Баварии, если бы получивший огласку роман поэта с молодой вдовой Эрнестиной Дернберг не побудил кн. Гагарина ходатайствовать об его переводе из Мюнхена. В мае 1837 г. Тютчев отправился в отпуск в Россию, а 3 августа состоялось его назначение старшим секретарем русской миссии в Турине.

II

Мюнхенский приятель Тютчева кн. И. С. Гагарин, тот самый, что позже променял княжеский титул на иезуитскую сутану, сравнивал поэта со страстными театрами, которые ради присутствия на представлении готовы подвергать себя разным лишениям: „Его не привлекали ни богатство, ни почести, ни даже слава. Самым задушевным, самым глубоким его наслаждением было наблюдать за картиной, развертывавшейся перед ним в мире, с неослабным любопытством следить за всеми ее изменениями и обмениваться впечатлениями со своими соседями. Я не хочу сказать, что он был вполне бескорыстен; месту в партере он пред-

почитал кресло в оркестре или ложу на авансцене и способен был употребить некоторые усилия, чтобы их получить, но все наслаждения и все утехы самолюбия не имели бы в его глазах никакой цены, если бы для приобретения их надо было пожертвовать главным интересом представления"¹¹.



Ф. И. ТЮТЧЕВ

Дагеротип 1840-х гг.

Публичная Библиотека, Ленинград

Мюнхен, расположенный на большой дороге тогдашней европейской политики, как нельзя лучше способствовал утолению этой ненасытной жажды поэта. „Пищу своей пылкости“ Тютчев находит не только в придворно-аристократических салонах и дипломатических кругах; блестящий Монжеля — не единственный „равный“ ему собеседник. Шеллинг отзывался о Тютчеве, как о „превосходном“ и „очень образованном“

человеке, „с которым всегда охотно беседеешь“; Гейне нашел в доме Тютчевых „сладостный оазис“; кроме Шеллинга Тютчев общался и с другими представителями университетской интеллигенции, между прочим с известным филологом Тиршем; можно предполагать, что тогда же он познакомился с ориенталистом Фальмерайером, автором до сих пор не устаревшей „Истории Трапезундской Империи“. С переездом из Мюнхена в Турин Тютчев как бы променял место в партере столичной сцены на ложу в провинциальном театре. Если новая его должность и могла бы где-нибудь в Вене или Париже доставить некоторую „утеху“ его самолюбию, то тут поэту пришлось ради нее — и притом вопреки своему желанию — пожертвовать „главным интересом представления“.

„Вот уже скоро месяц, как я в Турине, — писал Тютчев родителям 1 ноября 1837 г., — и этого времени было достаточно, чтобы позволить себе составить на его счет вероятно окончательное мнение. Как место, как служба, одним словом — как заработок Турин несомненно один из лучших служебных постов. Прежде всего, что касается дела, то его нет... Жалование, не будучи значительным, все же — 8 000 рублей (в год. — К. П.), а что до здешних цен, то они таковы, что с этой суммой, увеличенной вдвое, возможно пожалуй свести концы с концами. К тому же с будущей осени мне предстоит остаться здесь поверенным в делах в течение целого года. Вот хорошая сторона положения — но затем, как местопребывание, знайте, что Турин — один из самых унылых и угрюмых городов, сотворенных господом богом. Никакого общества. Дипломатический корпус малочислен, не объединен и вопреки всем его стараниям совершенно отчужден от местных жителей. Зато мало дипломатических чиновников, не считающих себя здесь, как в ссылке. Обрезкову, например, после пятилетнего пребывания, несмотря на его превосходные обеды, три бала в неделю в продолжение сезона и хорошенкую жену, не удалось привлечь к себе достаточно народу, чтобы обеспечить себе партию виста. Так же обстоит дело и с его коллегами. Одним словом, в отношении общества и общительности Турин — совершенная противоположность Мюнхену. Но, повторяю, это быть может наиболее удобный способ заработать 8 000 рублей в год“¹².

Несмотря на скуку, жертвой которой становились все иностранцы, обреченные на пребывание в Турине, казалось, что колесо дипломатической фортуны начинает поворачиваться в благоприятную для Тютчева сторону.

Вскоре по приезде Тютчева в Турин разгорелась между сардинским двором и русским посланником „пресловутая ссора“ (как отозвался об ней Тютчев) на почве придворного этикета. Можно только подивиться тому, что дамский головной убор мог послужить в то время предметом серьезной дипломатической переписки, если только мнимое нарушение этикета женой русского посланника не было использовано лишь как предлог; чтобы насолить лично Обрезкову, не пользовавшемуся расположением туринского общества.

В результате этой ссоры последний, согласно своему желанию, был отозван из Турина, а Тютчев был назначен поверенным в делах. Царское правительство сочло однако нужным проучить „мало любезный“ сардинский двор и умышленно медлило с назначением преемника Обрезкову. Тем самым положение Тютчева в Турине более походило на положение постоянного поверенного в делах, чем временно управляющего делами миссии. Сардинский двор скрепя сердце принужден был примириться с тем, что при нем состоит не „чрезвычайный посланник и полномочный министр его величества императора всероссийского“, а дипломатический агент низшего ранга.

Русско-сардинские дипломатические сношения в сущности очень напоминали русско-баварские, с тою только разницей, что в своих инструкциях царским посланникам в Турине Нессельроде еще в большей степени оправдывал свое звание „вице-канцлера“, послушно следуя указке Меттерниха. „Итальянским дворам, — гласит одна из инструкций Нессельроде, — предстоит принять лишь одно решение: пребывать верно и неизменно преданными системе монархического союза, призванного к тому, чтобы предохранить порядок общественный от тех опасностей, которыми ему все более и более угрожает распространение революционных доктрин“. По своему „географическому положению“ Австрия, с точки зрения русского правительства, „служит точкой опоры итальянскому полуострову и держит в своих руках, так сказать, звено цепи, связующей его с консервативным союзом“. Дружба с Австрией для сардинского короля — „лучшая гарантия его спокойствия“, в противовес дружбе с Францией, могущей „подать Сардинии лишь пример беспорядков и несчастий“¹³.

В связи с этим приобретает интерес следующий факт. В 1838 г. французский посол в Турине маркиз де Рюминьи ходатайствовал перед сардинским правительством о приравнении французских пассажирских пароходов в отношении прав и прерогатив к военным судам, в частности об освобождении их от таможенного осмотра в сардинских портах. Просьба эта была отклонена под тем предлогом, что прочие государства могут претендовать на то же. По этому поводу Тютчев писал в донесении, составленном им по поручению посланника: „Если несмотря на все меры надзора и предосторожности, которые принимают здесь против беспрестанных хитросплетений и дерзких попыток пропаганды, все еще не удается избавиться от пагубного их действия, каким образом сардинское правительство; не постыгнув на свою собственную безопасность и не сделавшись добровольной сообщницей революционеров всех стран, а Франции в особенности, могло бы само доставить столь действенное средство, как то, которого добивался маркиз де Рюминьи, — дабы наводнить королевство революционными памфлетами, сочинениями, имеющими целью ниспровержение общественного порядка, и пропагандистами, безнаказанно изливающими яд своих развращающих доктрин“¹⁴.

И в то время, когда Италия неоднократно „отвечала судорогами на гнет Меттерниха“ (Энгельс), итальянские государи цеплялись за спасительный монархический союз и призывали помощь австрийского оружия для подавления проблесков национального самосознания. Принципы „священного союза государей против народов“ играли в то время решающую роль в международной политике, и мелким итальянским властителям приходилось постоянно помнить об „услугах“, оказанных им в 1814—1815 гг. державами-победительницами „при дележе имущества побежденного“. Мудрено ли после этого, что туринский двор при всяком удобном случае „с искренностью и благодарностью“ вспоминал при русских дипломатах об услугах, оказанных Россией королевскому дому, а король обеих Сицилий признавался однажды Луи-Филиппу: „Я скажу откровенно вашему величеству, что во всем, что относится до мира или сохранения политической системы в Италии, я склоняюсь к идеям, которые, на основании старого опыта, признаны князем Меттернихом за действительные и спасающие“. И хотя „Священный союз брался охранять весь „порядок“, а не только личные интересы коронованных особ“¹⁵, в сознании руководителей европейской реакции охрана „порядка“ теснейшим образом была связана с поддержкой царствующих династий. Инстинкт самосохранения в значительной степени определял и отношения сардинского двора к русскому. Осуществленное на Венском

конгрессе закрепление сардинского престола за савойским домом не вполне отвечало желаниям Австрии, имевшей на Пьемонт свои виды. Вот почему в 1839 г., сообщая в Петербург о приеме, оказанном в Генуе путешествовавшему „инкогнито“ наследнику Александру Николаевичу, Тютчев отмечает, что высшие должностные лица города не могли при этом не помнить, что „если король, их повелитель, имеет удовлетворение принимать его (наследника. — К. П.) у себя, то этим корона Сардинии обязана России более, нежели какой-либо иной державе“¹⁶.

Подробные донесения Тютчева о путешествии наследника любопытны по тому не только с историко-бытовой стороны, но приобретают несомненный интерес и в свете тогдашних международно-политических отношений. Неслучайно в одном из дипломатических документов царское правительство определяло свои взаимоотношения с Туринном, как отношения двух дворов, из которых „один уверен в своей слабости, а другой — в своем могуществе“. И это в полной мере отразилось на самом характере дипломатических донесений Тютчева.

III

Мнение, составившееся у поэта насчет Турина, не изменилось во все время его пребывания там. Редкие гастролы столичной придворной труппы не способны были оживить однообразной сцены провинциального театра. Несмотря на убеждение в том, что „Турин несомненно один из лучших служебных постов“, Тютчеву не сиделось при сардинском дворе. 1 марта 1839 г. овдовевший поэт обращается к Нессельроде с частным письмом, в котором он просит у него разрешения на брак с Эрнестиной Дернберг и на отпуск в течение нескольких месяцев. В ответном письме к Тютчеву вице-канцлер писал, что он не находит никаких препятствий к вступлению Тютчева во второй брак, но предписывает ему дожидаться приезда в Турин только что назначенного посланника Н. А. Кокошкина. Дальнейший образ действий Тютчева остается не вполне ясным. Следующий рассказ И. С. Аксакова грешит явными неточностями: „Исправляя, за отсутствием посланника, должность поверенного в делах, — пишет он в своей „Биографии Ф. И. Тютчева“, — и видя, что дел собственно не было никаких, наш поэт, в один прекрасный день, имея неотложную надобность съездить на короткий срок в Швейцарию, запер дверь посольства и отлучился из Турина, не испрошив себе формального разрешения. Но эта самовольная отлучка не прошла ему даром. О ней узнали в Петербурге и ему повелено было оставить службу, при чем сняли с него и звание камергера...“¹⁷ Несколько иначе передает эти сведения Е. П. Казанович „со слов лица, слышавшего этот рассказ из уст самого Тютчева“: „Намереваясь жениться, этот „поверенный в делах“ самопроизвольно эти дела покинул и, взяв с собою дипломатические шифры, отправился в Швейцарию со своей будущей женой..., с нею там обвенчался, а шифры и другие важные служебные документы — в суматохе свадьбы и путешествия потерял“¹⁸. В официальных делах, касающихся службы Тютчева, на это обстоятельство нет никаких намеков. Согласно данным тютчевского послужного списка он „с успехом“ исправлял обязанности русского поверенного в делах с 22 июля 1838 г. по 25 июня 1839 г. Свидетельство о церковном браке Тютчева, совершенном в Берне, помечено 17/29 июля 1839 г., а гражданский брак был заключен в Констанце 29 июля/10 августа. Несколько подозрительным кажется то, что официальное извещение о браке Тютчева было послано в Петербург только в конце декабря и подписано русским посланником в Мюнхене Севериным. Время приезда Кокошкина в Турин выяснить не удалось. Однако, когда в январе 1840 г.

Тютчев возбудил ходатайство о дополучении невыданного ему жалования за май—сентябрь 1839 г., то жалование было уплачено ему только за два первых месяца, так как по справке из туринской миссии оказалось, что „коллежский советник Тютчев выехал из Турина 25 июня 1839 года и отправился через Швейцарию в Мюнхен, откуда более к своему посту не возвращался“. 6 октября 1839 г. Тютчев из Мюнхена послал свое прошение об отставке, одновременно испрашивая разрешение отложить свое возвращение в Россию до весны. 8 ноября состоялось „отозвание“ Тютчева от должности секретаря „с оставлением до нового назначения в ведомстве министерства иностранных дел“ и поэту был предоставлен временный отпуск. Судя по официальным бумагам, длительное „непробытие из отпуска“ и послужило причиной того, что Тютчев 30 июня 1841 г. был вычеркнут из списка чиновников министерства, а тем самым лишился и звания камергера¹⁹.

Всем этим сведениям все же присуща некоторая сбивчивость и неопределенность. В данном случае впрочем для нас не столь важно, что именно пресекло дипломатическую карьеру Тютчева,—в большей или меньшей степени „поэтическая вольность“ налицо. Гораздо важнее для нас разобраться в том, какое влияние имела дипломатическая карьера, точнее—связанное с ней пребывание за границей, на выработку политического облика Тютчева.

„Когда он покинул Россию в 1822 г.,—рассказывает в своей неизданной заметке о Тютчеве упомянутый уже К. фон Пфедфель,—умы в ней находились еще под влиянием теократических идей, пущенных в обращение Жозефом де Местром, и мистицизма императора Александра I. Этого же влияния не избег конечно и молодой Тютчев и на всю жизнь сохранил его следы“²⁰. Мы знаем и из других источников, что Тютчев восхищался де Местром и „постоянно“ его цитировал²¹. И действительно, как было недавно замечено В. М. Лавровским, нетрудно проследить в творчестве молодого Тютчева настроения, близкие эпохе „эмигрантской реакции“ во Франции²². Если некоторый налет дворянского либерализма и коснулся Тютчева, то это следует рассматривать как явление преходящее. Наоборот, легитимистские принципы Священного союза в достаточной степени определили всю политическую эволюцию Тютчева и наложили резкий отпечаток на его политические высказывания. „Она хотела раз навсегда утвердить торжество права, исторической законности над революционным движением“, пишет он о России в 1844 г.²³—совсем в духе дипломатических инструкций, составлявшихся в канцелярии министерства иностранных дел. Между тем на глазах Тютчева то и дело колеблется дорогой европейской реакции „порядок“. Совсем под боком у Тютчева, в баварской провинции Пфальц, в течение двух лет подряд (27 мая 1832 г. и 27 мая 1833 г.) происходят внушительные национально-демократические демонстрации, получившие название „Гамбахского праздника“. В Мюнхене, еще так недавно подававшем пример спокойствия и благонадежности, полиция ведет борьбу с революционно-настроенной студенческой молодежью. Всему этому движению, подтачивающему коренные устои „Европы трактатов 1815 года“, казалось, развязали руки июльская революция во Франции и переворот в Бельгии (1830 г.). Мысль о вооруженном вмешательстве во французские дела, мелькнувшую было в голове у Николая I при первых известиях о событиях в Париже, пришлось отложить: Меттерних предлагал „принять за общее основание нашего поведения решение не вмешиваться во внутренние дела Франции“. Это признание июльской революции внутренним делом Франции было прямым отступничеством от принципов своей же собственной политики, ставя под большое сом-

нение и самую жизненную силу трактатов эпохи конгрессов—по крайней мере по отношению к великим державам. И „вооруженная рука Священного союза“, как однажды окрестила Россию немецкая „Allgemeine Zeitung“, на сей раз принуждена была опуститься.

Тютчев как человек большого и острого ума не мог не видеть, что меттерниховская система лишь паллиативное средство, неспособное заглушить „духа времени“. „Тютчев еще в 1830 году предсказывал последовательный ряд революций,—неминуемое наступление для Европы революционной эры“²⁴. Неслучайно около этого времени он переводит следующие строки из „Западно-восточного дивана“ Гете:

Nord und Süd und West zersplittern,	Запад, Норд и Юг в крушеньи,
Trone bersten, Reiche zittern,	Троны, царства в разрушеньи.
Flüchte du, im reinen Osten	На Восток укройся дальней
Patriarchenluft zu kosten...	Воздух пить патриархальной...

и. с. в.

и т. д.

Мы знаем, что в целом ряде случаев тютчевские переводы таят для нас ценнейшие автобиографические признания переводчика. В частности этот перевод может рассматриваться как одно из отражений совершавшегося в это время „обращения“ Тютчева к России.

Сильно преувеличивая степень „разрыва“ Тютчева с крепостнической Россией в годы его заграничной жизни, И. С. Аксаков составил себе обширное поле для разного рода вопросов и недоумений. Казалось бы, в силу окружавших Тютчева условий, он должен был бы превратиться не только в чистейшего „европейца“, но и в „европеиста“. Вместо этого каким-то „чудом“ в нем „сложился и выработался целый твердый философский строй национальных воззрений“, и, вернувшись в Россию в начале 40-х годов, Тютчев очутился как раз на той ступени, на которой стояли тогда славянофилы, возглавляемые Хомяковым²⁵. М. П. Погодин „не верил ушам своим“, когда Тютчев при нем заговорил о славянском вопросе²⁶.

В чем же тут дело? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо прежде всего раскрыть классовую природу славянофильства. Социально-политическая утопия славянофилов и их своеобразная философия истории—не плод отвлеченного умозрения, созревший в тиши кабинетов прежних „любомудров“. Славянофильство—боевая теория, возникшая в кругах родовитого среднепоместного дворянства, корни которой таились не в облаках, а в земле. Разложение крепостного барщинного хозяйства—вот та реальная почва, на которой выросло славянофильское разрешение проблемы об отношении России к Европе. За упорным отрицанием элемента „внутренней“, т. е. классовой, борьбы в общественном развитии России на самом деле проглядывало отчетливое сознание классовых противоречий, подрывающих „законный порядок вещей“ в тогдашней Российской империи. „Гнилой Запад“ мало-помалу проникал сквозь щели той „китайской стены“, которой славянофилы пытались от него отгородиться, усыпляя других, а отчасти и себя, наркотической теорией о „самобытном“ и „особливом мире“. В конечном счете борьба за собственное существование придавала особенную остроту спорам „восточников“ с „западниками“.

Тютчев не был участником этих споров. Его славянофильское самосложение шло иным путем, но общность классовой принадлежности обуславливала и общность классового мироощущения. Крепкие идеологические нити тянутся из мюнхенской гостиной барон de Tautschef (как называли поэта его заграничные знакомцы) к стародворянским особнякам московских славянофилов.

Воспоминанья Николаю I.

О Николае I. пишу я в восторге,
И не могу забыть его величия,
И не могу забыть его величия,
И не могу забыть его величия.

Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь.

Воспоминанья Николаю I.

Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь.

Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь.

Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь.

Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь.

Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь,
Николай I. великий государь.

В 1836 г., во время своего приезда в Россию, после одного долгого спора в славянофильском кругу, кн. И. С. Гагарин воскликнул, обращаясь к Ю. Самарину: „Мне кажется, что я слышу Тютчева. Несчастный, он с головой уйдет в эти нелепости“²⁷. Повидимому в то время, когда в Москве начались первые стычки между „Востоком“ и „Западом“, такие же стычки происходили уже в Мюнхене, при чем Тютчев олицетворял собою „Восток“, а будущий иезуит—„Запад“.

Нельзя однако ставить знак полного равенства между московским славянофильством и славянофильством Тютчева. В сущности он был в большей степени панславистом, чем славянофилом. Мы напрасно стали бы искать у него некоторых отличительных элементов социально-политической теории славянофилов, хотя бы их учения об общине. Наоборот, славянский вопрос, далеко не сразу вошедший в плоть и кровь славянофильства, всегда имел в глазах поэта первенствующее значение. Для того чтобы сделаться последовательным славянофилом, Тютчев, во-первых, был слишком европейцем, а во-вторых, ему не доставало той реальной почвы, тех непосредственных возбудителей, под влиянием коих складывалась типично помещичья идеология московских „славян“. Последние все же были практиками, поскольку в своих социально-политических и философских построениях исходили из враждебного чувства к фабричной трубе, заводившейся „без всякой нужды“, где не должно, и из страха перед призраками Разина и Пугачева. Ту же самую классовую тревогу Тютчев подсознательно ощущал сквозь общее сознание крушения „старой Европы“.

Обращение Тютчева к „патриархальному воздуху“ России вполне закономерно: оно подсказывалось острым классовым сознанием поэта. Сильно затронутый уже началами новой буржуазной культуры, той самой „разрушительной“ философии, на которую он потом ополчится, он в то же время ощущает себя на Западе „обломком старых поколений“, „с изнеможением в кости“ бредущим „за новым племенем“. Но не будучи в силах преодолеть классового сознания, он не мог оставаться и „полусонной тенью“. Вот почему Тютчев—дворянин и поэт—начинает все крепче и крепче сжимать руку, которую ему протягивает Тютчев—дипломат и политик.

Тютчев всегда гораздо больше интересовался вопросами внешней политики, чем внутренней. И тут дипломатическая карьера, какова бы она ни была, сыграла свою роль. По старинному английскому определению, дипломатический представитель—это „благонадежный муж, посылаемый в чужие края для сокрытия истины в видах пользы государства“. Оторванный от русской действительности Тютчев сам приучается смотреть на Россию как бы сквозь дипломатические очки.

В то время как запад вступал в полосу новых революций, Россия торжествовала Унклар-Искелесским договором 1833 г. укрепление своих позиций на ближнем Востоке. Успехи русской восточной политики, несомненно оцениваемые Тютчевым-дипломатом в их истинном свете, рост национального самосознания южных и западных славян, руссофильские стремления некоторых вождей славянского движения, в частности лично знакомого с Тютчевым Вацлава Ганки,—все это не могло не оказать влияния на выработку тютчевского панславизма.

Мы знаем, что Тютчев умел разбираться в действительных целях русской ближневосточной политики. „Wir wollen nur existieren“ (мы только хотим существовать), сказал он однажды Фалльмерайеру, развивая перед ним свои взгляды на восточный вопрос. Но в своих стихах и беседах он предпочитал прикрывать реальные задачи русской дипломатии и русского оружия „Олеговым щитом“, извлеченным из сумрака псевдо-исто-

рических воспоминаний. Этот „Олегов щит“, случалось, заслонял истину и в сознании самого поэта. Его панславизм был реакционной утопией, как насквозь утопично было и его представление о России. В силу долгого пребывания на чужбине Россия рисовалась ему как бы в оболочке отвлеченной политической формулы, им же самим выработанной под воздействием „гражданских бурь“, потрясавших Запад. В отношении Запада Тютчев был гораздо более дальновзорок. Его утверждения о наступлении „революционной эры“ в Европе обнаруживают большую чуткость и проницательность. Пусть и в своих позднейших статьях он смешивает под общим понятием революции (он пишет это слово с большой буквы) всякое движение против status quo, не делая различий между движением либерально-буржуазным, демократическим и революционно-социалистическим. Но общее сознание его не обмануло. Все в старой Европе было поставлено на карту. Недаром Энгельс в своей итоговой статье о революционном движении до 1848 г. обращался к буржуазии со следующими словами: „...продолжайте смело вашу борьбу, милостивые государи от капитала! Пока вы нам нужны; кое где мы нуждаемся даже в вашем господстве. На вашу долю выпадает задача убрать с нашего пути остатки средневековья и абсолютную монархию. Вы должны уничтожить патриархальный строй, должны осуществить централизацию, должны превратить все более или менее неимущие классы в настоящих пролетариев—наших будущих сторонников. При помощи ваших фабрик и торговых связей вы должны создать основу тех материальных средств, в которых пролетариат нуждается для своего освобождения“.

IV

Кроме отмеченного в предыдущей главе влияния заграничной жизни на выработку политических взглядов Тютчева, дипломатический опыт имел для него и другое значение. На основании личных мюнхенских впечатлений 30-х годов Тютчев пришел к заключению, что Священный союз связывает только правительства, государей Германии с Россией, что со стороны печати, задающей тон общественному мнению, господствует „пламенное, слепое, неистовое, враждебное настроение“ против России. Как чиновник царской миссии Тютчев прекрасно знал, что его непосредственному начальству то и дело приходилось жаловаться баварскому правительству на „скандальные вольности периодической печати в Баварии“. С этой стороны заслуживает упоминания следующий факт. Если подавление польского восстания 1831 г., как уже было мною отмечено, значительно подорвало престиж России в глазах левой немецкой прессы, то Тютчев решительно отказывается видеть в варшавских событиях прямую связь с общеевропейской „революционной эрой“ и (говоря словами Пушкина) вовсе не склонен судить об этом „домашнем, старом споре славян между собою“ „по впечатлениям европейским“. В то время как баварское правительство приветствовало русский двор с восстановлением „порядка“ в Варшаве, царский посланник обращал внимание королевского министра иностранных дел на новые проявления „демагогического шарлатанства“ прессы. В бумагах канцелярии министерства иностранных дел сохранился экземпляр мюнхенского юмористического журнала „Der deutsche Horizont“ („Германский горизонт“) от 16 сентября 1831 г., вышедший с траурной каймой и объявлением на титульном листе: „8 сентября русские вступили в Варшаву! 8 сентября в Берлине умерло от холеры 17 человек! Деспотизм победил; свобода кончилась! Горе! Горе! Горе!“. Как бы ответом если не прямо на это заявление, то на подобные ему звучат тютчевские негодующе-националистические строки по адресу „клеветников России“:

... прочь от нас венец бесславья,
 Сплетенный рабскою рукой!
 Не за коран самодержавья
 Кровь русская лилась рекой!

.....
 Другая мысль, другая вера
 У русских билася в груди:
 Грозой спасительной примера
 Державы целость соблюсти,—
 Славян родные поколения
 Под знамя русское собрать
 И весть на подвиг просвещенья
 Единомысленных, как рать.

Конечно немецким публицистам мало было дела до этих русских стихов, даже не напечатанных в то время. Но несомненно, что Тютчев-дипломат не останавливался на этом и те же самые мысли развивал в своих устных беседах.

Что Тютчев долгое время не отчаивался насчет „политического такта“ немецкой печати (а этот „политический такт“ заключался, по его мнению, в таком же тесном „священном союзе“ германской прессы с Россией, какой существовал между русским царем и немецкими государями), явствует из того, что в начале 40-х годов он предпринимает реальные попытки к привлечению на русскую сторону одного из видных немецких публицистов того времени Я. Ф. Фальмерайера. Попытка эта относится к той поре, когда отставленный от службы Тютчев жил частным человеком снова в Мюнхене.

Автор нашумевшей в свое время теории о славянском происхождении новоэллинов не случайно обратил на себя внимание Тютчева. Славянское происхождение новоэллинов было удобным предлогом для обоснования завоевательных планов царизма на Востоке. По мнению Тютчева, заслугой Фальмерайера было „введение в обращение идеи Восточной великой самостоятельной Европы в противовес Западной“²⁸.

Записывая свой разговор с Тютчевым по поводу одной статьи Фальмерайера, последний занес в свой дневник от 12 марта 1842 г.: „г. Тютчев... проповедывал хвалы моему имени у сарматов; „на меня рассчитывают“. Из конспективного изложения автора дневника вырисовываются вехи обстоятельного разговора, в котором Тютчев раскрыл перед Фальмерайером свою точку зрения на восточный вопрос. „Европейский гнев, зависть к равному; однако все враждебные меры имели следствием только возвеличение и славу ненавистного соперника. „Мы только хотим существовать“, Византия — свящ. город; патриарх и торговля; Киев — центральный пункт и сердце славянства; Балк — мать городов; зудит переместить столицу, славянская карта Шафарика; краинское ближе всего к русскому“²⁹.

Некоторые намеки в этой беглой записи остаются не вполне ясными. Зато к другим можно бы привести ряд параллелей из статей и писем Тютчева. В этом вряд ли представляется надобность. Знаменательно упоминание о славянской карте Шафарика. Эта карта славянского мира, приложенная к только что вышедшей книжке Шафарика „Slovansky Nahodori“, пришлась по сердцу панславистам, и неудивительно, что Тютчев заговорил о ней. Весьма примечательно также, что среди мелькавших в беседе возвышенных понятий, как „мать городов“, „сердце славянства“, „священный город“, проскользнула и такая многозначительная фраза, как „патриарх и торговля“.

В середине 1843 г. мы видим Тютчева в России: по свидетельству Аксакова он приезжал туда, чтобы „предварительно подготовить свое перемещение в Россию и устроить дело по службе.“³⁰ Перед своим отъездом Тютчев имел свидание с шефом жандармов гр. А. Х. Бенкендорфом. „Он принадлежит к наиболее влиятельным, наивысше поставленным лицам в империи и по самому характеру своих должностей пользуется властью почти столь же неограниченную, как и власть самого повелителя“, писал Тютчев жене 29 сентября.³¹ „... Что мне было особенно приятно,— сообщал он тогда же родителям,— это прием, оказанный им моим мыслям касательно известного вам проекта, и поспешность, с которой он поддерживал их перед государем, потому что на следующий же день, после того как я с ним об этом говорил, он воспользовался последним своим свиданием с государем, чтобы довести их до его сведения. Он уверил меня, что мои мысли были приняты довольно благосклонно, и есть повод надеяться, что им будет дан ход. Я просил его предоставить мне эту зиму на подготовка путей и обещал ему приехать к нему, сюда ли или куда бы то ни было, для принятия окончательных распоряжений. Впрочем не он один интересуется здесь вопросом, и я думаю, что момент для его возбуждения был благоприятен... Увидим“³².

До недавнего времени письмо это представлялось загадкой для исследователей. Завесу, накинутую над этой страницей тютчевской биографии, срывает одна запись в дневнике Фальмераера. 11 октября он виделся в Мюнхене с только что вернувшимся Тютчевым и в тот же день записал: „Вечером чай у Тютчева; продолжительный секретный разговор и формальные предложения защищать пером** дело на Западе т. е. выдвигать правильную постановку восточного вопроса в противовес Западу, как и до сих пор, не насиловать своего убеждения; Бенкендорф решит в следующем году дальнейшее“³³.

Мы не знаем, что ответил Тютчеву Фальмераер, но несомненно одно: „проект“ Тютчева получил и не мог не получить осечки. „Политический такт“ предостерег Фальмераера от закинутой ему удочки. Мог ли этотистый немецкий националист приняться за славянскую пропаганду, не дав тем самым оружия в руки славянских племен, населявших германские государства? В предисловии к вышедшим в 1845 г. „*Fragmente aus dem Orient*“, озаглавленном „Что фрагментист думает о современном положении Германии, в особенности же о революции, о церковниках и о русских“, Фальмераер раскрыл свои карты. Ему нельзя отказать в значительной доле проницательности. „Лишить турок собственности и втянуть эстетически-восприимчивые немецкие племена в западню,— пишет он,— составляет душу и жизнь российства... Нашими естественными врагами, нашими ядовитейшими противниками и клеветниками являются во всяком случае русские“. И словно намекая на те мистические и исторические формулы, которые выдвигались нашими славянофилами и панславистами для обоснования русских прав на византийское наследство, Фальмераер утверждает, что религия и наука в России находятся на службе у „мирового авторитета императора-первосвященника“³⁴. Обращаясь к Фальмераеру, Тютчев не учел одного: ученый ориенталист мог пустить в обращение идею, вернее понятие о самостоятельной Восточной Европе, но поддерживать русские интересы не входило в расчеты немецкого публициста.

Испытав неудачу в своих переговорах с Фальмераером, Тютчев сам поднимается на „первую германскую политическую трибуну“ и со страниц аугсбургской „*Allgemeine Zeitung*“ обращается к немецкому общественному мнению с речью „о России и Германии“. Он предупреждает

при этом своих слушателей, что выступает не как официальный и официальный публицист, а как человек, „совершенно независимый по своему положению“, „русский сердцем и душою, глубоко преданный своей земле, в мире со своим правительством“. В задачи настоящей статьи не входит исчерпывающий пересказ политических статей Тютчева; это завлекло бы нас слишком далеко за пределы данной темы. Суть „России и Германии“—или, как названа эта статья в отдельном издании, „Письма к г-ну доктору Густаву Кольбу, редактору Всеобщей Газеты“,—сводится к определению „истинной, законной, естественной политики Германии“, и такая политика, по мнению Тютчева, заключается в верности Германии союзу с Россией. Германия обязана царской России своим освобождением из-под французского господства и „лучшими“ годами своей истории. Никогда Германия „не признавала себя столь единою, столь самостоятельной“, как при своем современном федеративном устройстве—иными словами в ту пору, когда спаянная призрачной формой Германского союза, Германия, по словам Маркса, „целые десятилетия беспомощно лежала у ног царя“. Говоря о том, что целью своей статьи он ставит прежде всего Германию и „ее существенные, самые очевидные интересы“, Тютчев в то же время останавливается и на России.

В „противовес“ Европе Западной он выдвигает Европу Восточную, где Россия во все времена служила душою и двигательной силой...“ Самые выражения, в которых Тютчев отзывается о России, свидетельствуют о глубоком сродстве Тютчева с его русскими единомышленниками. Восточная Европа (читай: Россия)—это „целый мир“, единый по своему началу, солидарный в своих частях, живущий своею собственною органическою самобытною жизнью. Широко развернутая перед несочувственным взором Фалльмерайера славянская карта Шафарика показала Тютчеву существенное подспорье при выработке его панславистских планов. Восточный вопрос считается „неразрешимым“ только потому, что „неизбежное разрешение“ его уже давно предопределено. „...Остается только узнать, обретет ли Восточная Европа, уже на три четверти сложившаяся, эта истинная империя Востока, для которой первая империя византийских кесарей, древних православных императоров, служила лишь слабым и неполным предначертанием, обретет или нет Восточная Европа свое последнее самое существенное дополнение, и получит ли она его путем собственного хода событий, или будет вынуждена добывать его силою оружия, подвергая мир величайшим бедствиям...“³⁵

Статья Тютчева вызвала неодобрение в прогрессивно настроенной части русского общества. „Не об истории Византии и ее наследии следует помышлять русским—писал например декабрист Н. И. Тургенев,—а о голоде и холоде, палках и кнуте, одним словом о рабстве и его уничтожении“³⁶. Тютчев как бы предвидит подобные возражения: „Несовершенства нашего общественного строя, недостатки нашей администрации, положение наших низших классов“—все это так. Но „в конце концов мы не одни на белом свете“. И Тютчев предлагает „взглянуть например на Англию, на ее фабричное население“, на Ирландию, и „на правдивых весах“ дворянского публициста и дипломата „бедственные последствия английского просвещения“ (иначе сказать—промышленного переворота) перетягивают „бедственные последствия русского варварства“.

Сам Тютчев когда-то отозвался о России в стиле Кюстина: „в России—канцелярия и казарма, все движется вокруг кнута и чина“. Теперь он отделяется в сущности отговоркой, забывая при этом французскую поговорку: *comparaison n'est pas raison*. Но ведь он все же был дипломатом...

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Карикатура И. А. Всеволожского

Музей им. Тютчева, Мураново



Интересно отметить, что статья Тютчева дошла до Николая I. Тютчев узнал потом, что император „полюбопытствовал узнать, кто был ее автор“, и „заявил, что нашел в ней все свои мысли“³⁷. В 1845 г. Тютчев снова зачисляется в ведомство министерства иностранных дел.

V

Тютчев покинул Германию как раз в то время, когда „призрак коммунизма бродил по Европе“ и „палач стоял у порога“ старого мира. До 1848 г. оставалось лишь несколько лет.

„1848 г. подобен землетрясению, которое конечно не все поколебленные им здания превратило в развалины, но зато те, которые устояли, дали такие трещины, что ежеминутно грозят падением“, — так оценивал Тютчев революционные события сорок восьмого года³⁸.

Обычно тогдашние высказывания Тютчева на политические темы рассматривались изолированно от одновременных высказываний других представителей одного с ним круга. Между тем совпадения не исчерпываются разительным примером, указанным Д. Д. Благим³⁹: литературная зависимость „Моря и утеса“ от стихотворения Жуковского „Русскому великану“ свидетельствует не только о желании поэта заменить антихудожественно-обнаженную аллегорию художественно-обобщенными символами, но и о глубокой и конечно далеко не случайной общности политического мироощущения. Если искать еще более выразительных доказательств подобных совпадений, то за примерами идти не далеко. Возьмем статью Тютчева „Россия и Революция“. Нарисовав картину всеобщего водоворота, в который вовлечена Западная Европа, картину,

обличающую руку мастера, невольно захваченного величием развертывающегося перед ним зрелища, он в то же время ни на минуту не упускает из виду основной политической цели своей статьи. „И когда над этим громадным крушением,—заканчивает Тютчев,—мы видим всплывающею святым ковчегом эту империю еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании и нам ли, сынам ее, являть себя неверующими и малодушными?“ Это написано в апреле 1848 г. Тютчев конечно не мог знать, что 17 февраля того же года, под живым впечатлением парижских событий, Жуковский писал своему воспитаннику — наследнику престола: „Более, нежели когда либо, утверждается в душе моей мысль, что Россия посреди этого потопа (и кто знает, как высоко подымутся волны его) есть ковчег спасения, и что она будет им не для себя одной, но и для других, если только посреди этой бездны поплывет самобытно, не бросаясь в ее водоворот, на твердом корабле своем, держа его руль и не давая волнам собою властвовать“⁴⁰.

Под напором нахлынувших на Тютчева впечатлений окончательно складывается панславистская утопия поэта. Он снова берется за перо публициста, обдумывая большой труд на тему о „России и Западе“. Две французские статьи Тютчева, написанные в 1848—1849 гг., — „Россия и Революция“ и „Римский вопрос“ — представляют отдельные главы этого неосуществленного труда. За исключением этих двух глав до нас дошли в переводе Аксакова лишь отрывочные конспективные наброски „России и Запада“. При внешнем блеске изложения — перед нами фантастически-грандиозное здание, воздвигнутое на песке. Но зато оно и распалось на глазах самого поэта.

В сущности конечный вывод „России и Запада“ сформулирован в следующей заметке Тютчева, найденной мною в бумагах Остафьевского архива Вяземских. Заметка эта, датированная 12 сентября 1849 г., показывает, как мало прозорлив был в своих взглядах на Россию этот „московский Исаия“: „В том положении, которого мы достигли, можно, не слишком предаваясь догадкам, предвидеть в будущем два великих провиденциальных факта, которым предлежит в положенное время заключить на Западе революционное междоусобице трех последних столетий и открыть в Европе новую эру. Эти два факта суть: 1) окончательное образование великой православной империи, законной империи Востока, одним словом — России будущего, осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя, 2) соединение двух церквей — восточной и западной. Эти два факта, по правде сказать, составляют один, который вкратце сводится к следующему: православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима; православный папа в Риме, подданный императора“⁴¹. Тютчев указывал даже определенные сроки для исполнения этих двух „провиденциальных“ фактов, по крайней мере первого из них. Он твердит об этом в своих стихах, ополчается на вялую, по его мнению, внешнюю политику русского кабинета и задорно обращается к „беспримерному трусу“ Нессельроде со словами:

Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!

В 1853 г., по горькой иронии истории в тот самый год, в который исполнилась четырехсотлетняя годовщина падения Византийской империи, „ключи вифлеемского храма отперли сорок лет запертый храм бога войны“ (М. Н. Покровский). С помощью этих ключей Россия рас-

считывала проникнуть в дом „бедного больного человека“, как называл Турцию Николай I, и умирить его разделом его имущества.

Восточная война окрыляет Тютчева надеждами. Россия вступает наконец в поединок с целым Западом, и новый мир — великая Греко-российская Восточная империя — возникнет в результате этой „борьбы не на живот, а на смерть“. На первых порах Тютчев смотрит на завязавшуюся схватку как нельзя более оптимистично: „...если бы Запад был один, мы — я полагаю — погибли бы. Но их два: Красный и тот, который должен им быть поглощен. Мы оспаривали его у него в продолжение сорока лет — и вот мы на краю бездны. И теперь Красный в свою очередь спасет нас“⁴². Если бы Тютчев читал „New-York Daily Tribune“, то он увидел бы, как ошибочны были его прозрения. В передовых статьях этой газеты Маркс и Энгельс давали поразительный по глубине и тонкости анализ царской внешней политики. „На европейском континенте существуют фактически только две силы: Россия со своим абсолютизмом и революция с демократией“, читаем мы например в передовой статье от 12 апреля 1853 г. Русская восточная политика поэтому оценивается Марксом и Энгельсом прежде всего с точки зрения отношения России к европейскому революционному движению. „Если Россия овладеет Турцией, ее силы увеличатся почти вдвое и она окажется вдвое сильнее всей остальной Европы вместе взятой. Такой исход дела явился бы неопишущим несчастьем для дела революции“⁴³.

Тютчевские упования на „Красного“, как видим, были лишены оснований. „Красный“ мог лишь стать поперек дороги царской России к осуществлению ее „провиденциальной“ миссии.

Крымская кампания не только не дала России „право выхода из своего внутреннего двора во внешний мир“ (Н. Я. Данилевский), но надолго заперла ее в этом внутреннем дворе, связав ее при этом крепко накрепко Парижским трактатом.

Тютчев, встретивший войну программными письмами на тему о Греко-российской Восточной империи, очень скоро принужден был взглянуть прямо в глаза действительности. Конечно многое, ставшее теперь достоянием истории (например факты полнейшей несостоятельности высшего военного командования, наряду с дезорганизацией самой армии, приводимые М. Н. Покровским в его статьях о русской внешней политике), доходило до обывателей лишь в виде слухов, зачастую намеренно смягченных. Но нет дыма без огня. Сильно преувеличивая значение дипломатической кухни и сваливая львиную долю ответственности на министерство иностранных дел, Тютчев все же сразу воспринял поражение России, как неизбежное следствие всей николаевской системы. Еще так недавно отстаивавший эту систему перед иностранцами, дававший ей идеологическое обоснование, он испытывает теперь ощущения человека, запертого в карете, которая „катится по все более и более наклонной плоскости“, и вдруг замечающего, что „на козлах нет кучера“⁴⁴. Тот же, кого до тех пор он считал таким надежным кучером, представляется ему ныне „злополучным человеком“, человеком „чудовищной тупости“. Правда, когда на похоронах умершего императора появился представитель Австрии только что, „удивившей мир своей неблагодарностью“, Тютчев в гневных стихах призывал чуть ли не к открытому разрыву с „австрийским Иудой“. Но одновременно он же похоронил и „священную тень“ под могильной плитой эпитафии:

Не богу ты служил и не России —

Служил лишь суете своей.

И все дела твои и добрые и злые —

Все было ложь в тебе, все призраки пустые.
Ты был не царь, а лицедей!

Поражение России кажется теперь Тютчеву не только понятным, но и вполне закономерным. Осенью 1855 г. он пишет жене: „В конце концов это только справедливо и было бы даже неестественно, чтобы тридцатилетний режим глупости, развращенности и злоупотреблений мог привести к успехам и славе“⁴⁵.

Эволюция, проделанная Тютчевым в его взглядах на русскую политику, весьма знаменательна. „Ото всей России — войне сочувствие... Крестовый поход!“, восхищается Шевырев под впечатлением флигель-адъютантских донесений о „дивных и единодушных наборах“⁴⁶. А Погодин, подобно Тютчеву, мечтает о славянском, дунайском или юго-восточном европейском союзе под главенством России, со столицей в Константинополе. Но война затягивается. Вместо мерещившихся русскому помещику внешних рынков сокращается главный источник помещичьего существования — хлебный вывоз; в черноземных губерниях стремительно падают цены на пшеницу. Связь военных неудач с упорно отстаиваемой правительством политической системой делается все очевиднее. А. И. Кошелев писал впоследствии в своих „Записках“: „Мы были убеждены, что даже поражение России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время“⁴⁷. Тютчев, как мы уже видели, смотрит на дело с точки зрения „высшей справедливости“: люди более практичные, чем он, искали пользу. В чем же в глазах Кошелева и ему подобных могла состоять польза такого поражения? Прежде всего в перемене общего направления политики в либерально-буржуазном духе. Даже Погодин писал в это время: „нельзя жить в Европе и не участвовать в общем ее движении, не следить за ее изобретениями, открытиями физическими, химическими, механическими, финансовыми, административными, житейскими“⁴⁸. А это означало перевод России на рельсы буржуазного развития.

Севастопольская катастрофа и Парижский мир наносят жестокий удар всем политическим построениям Тютчева. „Еще не все быть может пропало, но все было испорчено, замарано и надолго скомпрометировано“ — вот какое заключение выносит Тютчев-панславист из опыта Крымской кампании⁴⁹. И хотя толки о великой Греко-русской Восточной империи с этих пор исчезают со страниц тютчевских писем, было бы большой ошибкой утверждать, что Тютчев бросил славянофильское знамя. Он и в дальнейшем продолжал его поддерживать, но по справедливому замечанию Д. Д. Благого — как бы по „инерции“. Оставаясь в своих стихах попрежнему „одним из самых ярких агитаторов славянофильства“, ⁵⁰ он не без иронии отзовется в частном письме о „неудавшемся императоре Востока“⁵¹, а в другой раз уклонится от участия „в каком-то славянском обеде“, „чтобы избавить себя от скуки слышать столь бесполезное и даже смешное пережевывание „общих мест“, которые стали для него „тем более тошнотворными“, что он сам им содействовал“⁵².

Под влиянием севастопольского поражения тютчевское славянофильство претерпевает характерные видоизменения, общие большинству его политических единомышленников. Пока существовал Парижский трактат, пока Россия была лишена военного флота, где уж тут было говорить о Константинополе! На смену политическому объединению славянских племен была выдвинута в качестве более непосредственной задачи проблема духовного объединения славян. Лишь на рубеже 60-х и 70-х годов идеолог позднего славянофильства Н. Я. Данилевский признает

взгляд этих „истинных и искренних друзей славянства“ „совершенно непрактичным“. По его мнению, „духовное единство есть главное, существенное, высшее, политическое же объединение сравнительно низшее“, и начинать нужно с „фундамента“⁵³.

Очень вероятно, что в глубине души и предшественники Данилевского не прочь были бы начать с фундамента, но вынуждены были приспособить свою теорию к условиям действительности. При всем пережитом им разочаровании Тютчев никогда не упускал из виду конечных целей русской восточной политики и смотрел на перемену внешнеполитического направления лишь как на „временную приостановку и подготовку“, вызванную обстоятельствами момента. Позднее, в начале 70-х годов, в минуты оптимизма, он склонялся к тому, что такая политика „не может продолжаться долго, ибо Россия, при своем внутреннем росте, неизбежно разорвет свою внешнюю политику, как слишком узкую одежду, и власть, стоящая во главе ее, принуждена будет принять программу иную, чем *otium cum dignitate* (полный достоинства досуг) Цицерона“⁵⁴. Но во второй половине 50-х годов об этом не могло быть и речи...

VI

В связи с исходом Крымской кампании склад политического мышления Тютчева теряет прежнюю цельность. Его „век“ в сущности минул с последними выстрелами Севастополя. С этих пор он только примиряется с действительностью. Русская пассивная политика в отношении славян была ему не по нутру. В письмах, носивших характер его *profession de foi*, он старался уверить себя и других, что Россия „лучше всего соблюдает интересы славянства“ своим невмешательством в славянские дела. „Наш договор по отношению к ним (славянам. — К. П.) слегка напоминает тот, который господь бог заключил с дьяволом по поводу своего верного друга и раба Иова. Он дал ему право мучить его и всячески досаждать ему, но с условием не посягать на его душу, на его жизнь“⁵⁵. Это было конечно только самоутешением для поэта. В письмах к жене, не рассчитанных на прочтение в московских, петербургских, а иногда и заграничных гостиных, он бывал более откровенен. Так он писал ей однажды, имея в виду правительственные круги: „...я примиряюсь с нашим вынужденным бездействием в настоящую минуту, ибо их действительное бессилие составляет нашу единственную гарантию против бедственных последствий их ума“⁵⁶.

Тютчев вообще был невысокого мнения об их умственных способностях. Отправляясь присягать Александру II, он находил, что для них было бы гораздо полезнее, если бы он мог „одолжить им хоть немного ума“⁵⁷.

Вся дальнейшая общественно-политическая деятельность Тютчева и была направлена на то, чтобы „одолжить“ хоть частицу своего ума и ума своих единомышленников лицам, стоявшим у кормила. Учесть опыт Крымской войны и предотвратить в будущем возможность второго Севастополя — вот какие задачи преследовал при этом Тютчев. Проблемы внешней политики в частых случаях являлись для него непосредственным поводом к подобным попыткам.

Тютчеву пришлось теперь действовать не на официальном дипломатическом поприще. Его главной квартирой становится теперь кабинет нового министра иностранных дел кн. А. М. Горчакова. К концу 50-х годов между Тютчевым и Горчаковым завязываются довольно близкие отношения.

В приложении к настоящему очерку помещаются все дошедшие до нас письма Тютчева к нему. Этим письмам можно верить только наполовину. Недаром сам поэт, рассказывая о своем письме к Горчакову по поводу известных дипломатических нот 1863 г., признавался жене: „На сей раз я ему говорил только правду.“ Значит он сам прекрасно знал цену своим письмам к министру, вернее знал цену этому последнему. Лучше всего характеризуют Горчакова его собственные слова, сказанные Бисмарку: „Si je me retire, je ne veux pas m'éteindre comme une lampe, qui file, je veux me coucher, comme un astre“ (если я выйду в отставку, я не хочу угаснуть как лампа, которая меркнет, я хочу закатиться, как светило.) Отдавая себе полный отчет в „невероятной пустоте“ Горчакова, Тютчев сознательно пронизывает свои письма и записочки к нему самой откровенной, чисто вольтеровской лестью. Играя на слабых струнах своего сановного „друга“ (эта „дружба“ не может быть принята без оговорок), Тютчев не упускал случая влиять на него в желательном для славянофилов духе, к чему сам Горчаков подавал повод своей склонностью разыгрывать роль „народного“ министра.

Для уяснения всего дальнейшего большое значение представляет последняя по времени французская политическая статья Тютчева — „Письмо о цензуре в России“, адресованное в 1857 г. тому же Горчакову. В этой полуофициальной, получастной записке, оглядываясь на недавнее прошлое, Тютчев между прочим говорил: „... нам было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общественного организма... Даже сама власть с течением времени не может уклониться от неудобств подобной системы. Вокруг той сферы, где она присутствует, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встречая извне ни контроля, ни указания, ни малейшей точки опоры, кончает тем, что приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще прежде, чем бы ей суждено пасть под ударами злополучных событий“. Охарактеризовав вкратце настоящее положение и настроение печати, Тютчев определяет цензуру как „предел“, а не как „руководство“; по его мнению вся суть дела заключается как раз в обратном — в направлении, а не в подавлении печати. Правительству следовало бы пересмотреть свои отношения к последней, дабы вновь не лишиться в черный день всякой моральной поддержки со стороны общества. Тютчев при этом ссылается на пример Германии, где те самые правительства, которые до 1848 г. смотрели на печать „как на неизбежное зло“, которому они — ненавидя его — покорялись, „теперь „стали искать в ней вспомогательную силу и употреблять ее как орудие, приспособленное к их требованиям“.

Роль посредника между печатью и правительством, которую принимает на себя Тютчев, подсказывалась официальным положением поэта, как известно, служившего в цензурном ведомстве.

Постараемся на основании нескольких ярких фактов показать Тютчева в его новой роли.

Вопросу о взаимоотношениях правительства и печати посвящена значительная часть письма Тютчева к Горчакову от 21 апреля 1859 г. В этом письме он выдвигает в качестве „твердой точки опоры“ для царя и его министра „просвещенное национальное мнение“ печати, противопоставляя его „антинациональным“ стремлениям придворно-бюрократических кругов. Это — единственное в его глазах противодействие против тлетворного влияния последних. И знаменательно, что Тютчев кончает свое письмо словами: „Я еду, князь, на три или на четыре дня в Москву. Я увижу кое-кого из этих господ... Что хотите, чтобы я им

передал?" Из этих слов совершенно очевидно, что под „великим мнением“, выразителем „общественного сознания“, Тютчев разумел ни что иное, как славянофильские и националистические круги Москвы. Имеются сведения о свидании Тютчева в это время с редакторами „Русского Вестника“ М. Н. Катковым и П. М. Леонтьевым. Правда, ни со стороны Тютчева, ни со стороны других славянофилов полного единомыслия с издателем „Московских Ведомостей“ не было. Во многом они существенным образом расходились, и в 1865 г. Катков даже утверждал, что „эпигоны славянофильства,“ славянофилы „Дня,“ гораздо более сходятся с некоторыми петербургскими кружками, всего же более с петербургским „Голосом“⁵⁸. Последний при всей умеренности его либерализма пользовался резко выраженной антипатией Каткова. Однако в вопросах внешней политики славянофилы близко соприкасались с Катковым и этого было достаточно, чтобы Тютчев считал необходимым всячески поддерживать последнего. Вот почему в 1866 г., когда „Московские Ведомости“ вступили в кратковременный конфликт с министерством внутренних дел, Тютчев усиленно ратовал за этот „единственный оплот консервативного и национального мнения“.

Мы не знаем, дал ли Горчаков Тютчеву какое-либо поручение в Москву во время его приезда туда в 1859 г., но зато он воспользовался его добровольным посредничеством несколько лет спустя, в эпоху так называемого „дипломатического похода“ 1863 г. в связи с польским восстанием.

Непосредственным поводом к „дипломатическому походу“ послужило оглашение русско-прусской военной конвенции, заключенной 27 января 1863 г. Каждая из подписавших ее сторон обязалась по первому требова-



А. М. ГОРЧАКОВ

С фотографии, принадлежавшей
Ф. И. Тютчеву

Музей им. Тютчева, Мураново

нию другой перевести через границу свои военные силы и, в случае надобности, преследовать на чужой территории польских инсургентов". „Вопрос о том, как отнесется Россия к польскому восстанию,— писал Бисмарк в своих „*Gedanken und Erinnerungen*" — имел первостепенное значение для будущего Пруссии как германской державы. Доброжелательное по отношению к Польше направление русской политики могло привести к сближению России с Францией, а доброжелательный Польше франко-русский союз... поставил бы тогдашнее прусское правительство в весьма затруднительное положение".

Январская, так называемая Альвенслебенская конвенция явилась признаком нового направления в русской политике: „польское“, „антинемецкое“ (по словам Бисмарка) начало сменялось традиционным „антипольским". И в недалеком будущем этой прусской политике, корни которой тянулись к хлебным полям России, суждено было стяжать себе славу „народной политики".

Известие о заключенной конвенции вызвало тревогу на Западе. 18 февраля 1863 г. М. Ф. Тютчева занесла в свою памятную книжку: „Папа вернулся с известием, полученным вчера поздно вечером, что Франция Англия и Австрия собираются нам приказать восстановить Польшу. Громовой удар"⁵⁹. Вести эти явились отголоском предложения, с которым обратился Наполеон III к Англии и Австрии,— протестовать против международного акта, обращающего частный польский вопрос в вопрос общеевропейский.

Тютчев чуть ли не с первых слухов о затеваемой коалиции жил в беспрестанных тревогах, в постоянном ожидании войны. 17 марта, под впечатлением его мрачных предчувствий, дочь поэта записывает в своей памятной книжке: „Папа все более и более предвидит войну и нашу гибель"⁶⁰. Как не похоже это на настроения Тютчева эпохи зарождения Крымской войны!

Опасения Тютчева возросли еще больше в связи с получением июньских депеш, в которых Англия, Австрия и Франция настаивали на передаче польского вопроса на суд восьми держав — участниц Венского конгресса. Иностранное посредничество между русским правительством и его „мятежными" подданными — поляками — было встречено как прямое вмешательство во внутренние дела России. В националистических кругах с тревожным напряжением ожидали ответных нот русского министерства. Центром „патриотического" возбуждения была Москва — и там-то „между Катковым и И. Аксаковым" прожил Тютчев около двух месяцев, исполняя своего рода негласную „миссию".

7 июня, еще до своего отъезда в Москву, Тютчев обедал у Горчакова в Царском Селе. „Я предполагал насытиться новостями, но не тут-то было,— писал он на другой день жене в Орловскую губернию. — Ноты еще не получены. Их ожидают послезавтра. Здесь повидимому успокоились, по крайней мере на этот год, но это успокоение происходит, как всегда, конечно от умственной немощи, которая служит основой всего в наших правительственных кругах"⁶¹. „Ноты прибыли 11-го числа,— сообщал он ей же 20 июня, уже из Москвы. — В данную минуту ответ должно быть уже составлен или почти составлен. Он будет отрицательным, хотя, как я полагаю, и не исключающим возможности продлить еще некоторое время это приятное собеседование. Захотят ли они его продолжать—это другой вопрос"⁶².

Тютчев, со своей стороны, вовсе не разделял „успокоения" правительственных сфер (см. в приложении его письмо по этому поводу к старшей дочери Анне — жившей при дворе). Несмотря на уверения „милейшего князя", он далеко не был убежден в „непоколебимой решимо-

сти" русского правительства ответить категорическим отказом на притязания держав. А тут еще, почти накануне того дня, когда Тютчев прочел долгожданные депеши, он получил письмо от дочери из Царского. дышавшее негодованием и предвещавшее чуть ли не согласие России на предъявленные требования. „Отец твой в отчаянии от антипатриотического настроения Петербурга“, сообщает 7 июля сестра поэта, Д. И. Сушкова, своей племяннице Е. Ф. Тютчевой⁶³. На самом деле ответные депеши уже несколько дней как были отправлены русским дипломатическим представителям в Лондоне, Париже и Вене, но содержание их еще оставалось неизвестным в России. Е. М. Феоктистов рассказывает в своих воспоминаниях о „забавном положении“, в котором очутилось министерство иностранных дел в тот самый момент, когда нужно было обнародовать знаменитые депеши. Оно вполне оправдало шутовское прозвище „иностранного министерства русских дел“, данное ему Катковым. Среди дипломатов и чиновников горчаковской школы не нашлось никого, кто бы мог как следует перевести их на русский язык. Прибегли к помощи Феоктистова, который и выручил министерство из беды⁶⁴.

10 июля в Москве прочли депеши. Тютчев остался вполне удовлетворен „достоинством и твердостью“, с которыми они были написаны; по его мнению, трем державам не оставалось иного выбора, „как постыдное отступление или война“⁶⁵. Но и на сей раз Тютчев оказался плохим угадчиком предстоявших событий.

На другой день поэт послал к Горчакову письмо, в котором он говорил ему „только правду“⁶⁶. Но как бы ни искренен был поэт, принимая за мнение всей „страны“ пересуды, слышанные им на Тверском бульваре, и с удовлетворением отмечая единодушное сочувствие к Горчакову самого Английского клуба, — письмо его словно нарочно было рассчитано на то, чтобы раздражить „непомерное тщеславие“⁶⁷ министра. К сожалению ответное письмо Горчакова не сохранилось; а в то время списки с него ходили по городу⁶⁸. И конечно далеко не случайно, что в этом письме к Тютчеву заключались „добрые и любезные слова“ по адресу Каткова. Последний был для Горчакова той самой „твердой точкой опоры“, на которую несколько лет назад ему указывал Тютчев.

В Москве, благодаря своим дружеским отношениям с редакцией „Московских Ведомостей“, Тютчев постоянно находился у самого „источника новостей“. Язвительный Феоктистов, отмечая огромную популярность Горчакова в это время среди господствующих классов, утверждает, что „самым главным ее виновником был Катков“. Он, по мнению мемуариста, „создал репутацию князя Горчакова“. Влияние „Московских Ведомостей“ в правительственных и реакционных общественных кругах в эпоху „дипломатического похода“ было действительно громадно, и зная, насколько склонен был Горчаков к боязливым колебаниям, насколько каждый решительный шаг повергал его „в содрогание от воображаемых им опасностей“, начинаешь принимать всерьез слова русского посла в Париже бар. Будберга, что в эти тревожные дни, получая корреспонденцию из России, он первым долгом раскрывал „Московские Ведомости“, а потом уже правительственные сообщения, так как „всегда предпочитал оригинал копии“⁶⁹.

Официальные историки писали в свое время об „общем одушевлении, вызванном событиями в Польше“, о тесном „единении всех русских людей с верховной властью“. Сам Горчаков говорил об этом в своей исторической — по мнению Тютчева — речи на обеде в петербургском Английском клубе. На самом же деле это „всеобщее одушевление“ не распространялось за пределы поклонников „Московских Ведомостей“ и

аналогичных ему органов общественного мнения. Следствия „народной“ политики Горчакова не замедлили сказаться очень скоро. Поворот к русско-прусскому союзу тотчас же возродил завоевательные замыслы России. И если для некоторых дон-Кихотов славянофильства воображаемый крест на святой Софии субъективно мог казаться символом „духовного единения“ славянства, то для представителей русского землевладения и капитала он осенял просто-напросто вожаемые внешние рынки. В конечном счете и „искренние друзья славянства“ обслуживали своей пропагандой именно эти интересы.

Весьма знаменательно, что через каких-нибудь шесть лет Данилевский выступит с новым обоснованием русских прав на Константинополь, на этот „res nullius“ (предмет никому не принадлежащий), при чем станет обосновывать эти права прежде всего с точки зрения „поистине неоценимых и неисчислимых“ стратегических выгод. Перечислив все материальные доводы в пользу овладения Россией Константинополем, автор касается и „нравственной“ стороны дела и патетически восклицает: „Каким дух занимающим восторгом наполнило бы наши сердца сияние нами воздвигнутого креста на куполе святой Софии!“⁷⁰

Но имея конечной целью своей восточной политики захват Константинополя и проливов, в 60-е годы России пришлось действовать в обход, т. е. возобновить прерванное военное продвижение в Среднюю Азию.

Тютчев принял деятельное участие в публичном изъятии сочувствия политике Горчакова. „Что касается пап, — писала 14 июля 1863 г. сестра поэта своей племяннице Е. Ф. Тютчевой, — то он... занят успехами Каткова и князя Горчакова; вчера он с торжеством объявил мне, что городская дума собирается дать обед на 2000 человек в честь князя Горчакова и что по этому случаю послали просить Тучкова (московского генерал-губернатора. — К. П.) исходатайствовать разрешение на это в высших кругах. Тучков по всей вероятности отклонил эту просьбу. Он против манифестаций. Это был бы митинг“⁷¹.

Действительно банкет не был разрешен, и Тютчев с нескрываемой досадой рассказывал об этом в письме к жене: „Итак, все та же старая песня... Сгоряча я написал несколько слов в Царское (дочери Анне. — К. П.) и очень бы желал, чтобы они были перехвачены теми, к кому они в сущности относятся“⁷².

Тютчев вернулся в Петербург в первой половине августа и на следующий же день отправился обедать к Горчакову; у него он прочел иностранные ответы на депеши русского вице-канцлера. „Им недостает остроты и они выражают лишь досаду и разочарование“, так оценивал Тютчев новые иностранные ноты. Непосредственно от Горчакова поэт имел случай узнать, что „ответ на них будет... учтив и, не вдаваясь в полемику — отныне как бы исчерпанную, будет ссылаться на данные ранее объяснения“⁷³.

В сущности полемика действительно в это время могла считаться исчерпанной. Планы „великого фокусника (le grand prestigitateur)⁷⁴“ разлетелись в прах — не от „филигранной риторики горчаковских нот“ (как отозвался о них Герцен⁷⁵), а от бояливой нерешительности Австрии.

В истории русского общественного движения в связи со столь шумевшим „дипломатическим походом“ 1863 г. Тютчев занимает весьма заметное и вполне определенное место. Он был более прав, чем это может показаться сначала, когда при своем отъезде из Москвы писал следующие, чуть-чуть шуточные строки жене: „Здесь я жил в самом центре московской прессы, между Катковым и Аксаковым, служа чем-то вроде официального посредника между печатью и министерством ино-

странных дел. В сущности я могу смотреть на свое пребывание в Москве, как на миссию не более бесполезную, чем многие другие"⁷⁶. Невольно припоминается при этом первое известное нам письмо Тютчева к Горчакову. Еще тогда, говоря о взаимоотношениях печати и правительства, Тютчев настаивал на том, чтобы в глазах последнего „великое мнение“ — „выражение общественного сознания“ — сделалось единственно твердой точкой опоры по вопросам внешней политики. „...Нужно разрешить ему высказываться и даже вызывать его на это“, твердит Тютчев, тем самым явно подстрекая Горчакова последовать его совету. Вот почему в дни „дипломатического похода“ Тютчев более чем кто бы то ни было мог чувствовать себя в роли посредника между правой печатью и правительством. Завершением этой тоже своего рода дипломатической кампании было свидание Горчакова с Катковым в октябре 1863 г. Тютчев при этом был „вожаком“ Каткова в приемной вице-канцлера.

В связи со всем вышеизложенным понятна становится высокая оценка, данная Тютчевым Горчакову по случаю пятидесятилетия его государственной службы.

В те дни кроваво-розовые,
Когда, прервав борьбу свою,
В ножны вложила меч Россия —
Свой меч, иззубренный в бою —

Он волей призван был верховной
Стоять на страже — и он стал,
И бой упорный, бой неровный
Один с Европой продолжал.

И вот двенадцать лет уж длится
Чудесный поединок тот.
Иноплеменный мир дивится,
Но Русь легко его поймет.

Он первый угадал в чем дело,
И им впервые Русский дух
Союзной силой признан смело —
И вот венец его заслуг⁷⁷.

VII

Под влиянием „дипломатического похода“ окончательно складывается точка зрения Тютчева на взаимоотношения России и Запада, с наибольшей яркостью выраженная им в неизданном письме к дочери Анне. Привожу в переводе интересующий нас отрывок: „Я конечно не принадлежу к тем, кто в своем мрачном патриотизме хотел бы обречь Россию на систематическое одиночество, обособить и уединить ее на веки. Я допускаю сближения, но с тем, чтобы они были лишь случайными и чтобы соглашаясь на них, ни на многовечие не забывалась та истина-догмат, что между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, что не существует на Западе ни одного интереса, ни одного стремления, которые бы не злоумышляли против России, в особенности против ее будущности, и которые бы не старались повредить ей. И вот почему единственная естественная политика России по отношению к западным державам это — не союз с той или иной из этих держав, а разъединение и, разделение их. Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждеб-

ными — по бессилию, разумеется, никогда — по убеждению. Эта суровая истина быть может покоробит чувствительные души, но в конце концов ведь это закон нашего бытия как племени и как империи, и есть лишь один способ устранить его, это — перестать быть русскими⁷⁸.

Эти строки писаны 26 июня 1864 г. А в 1869 г. в журнале „Заря“ начинается печататься катехизис позднего славянофильства — „Россия и Европа“, одно из основных положений которой поразительно совпадает с тютчевским. „Европа не случайно, а существенно нам враждебна, — пишет Данилевский: — следовательно только тогда, когда она враждует сама с собой, может она для нас быть безопасною“⁷⁹ (ср. в письме Тютчева к Аксакову от 2 октября 1867 г.: „Усобица на Западе — вот наш лучший политический союз...“).

Отсюда — естественный вывод и Данилевского, и Тютчева: единственная возможная политика России — это „недоброжелательный нейтралитет“ (Тютчев) по отношению к Западу, безусловный отказ от всяких попыток „умиротворения“ враждующих между собою западноевропейских держав и прежде всего от какого бы то ни было тесного сотрудничества с ними. „Случайные сближения“, допускавшие у Тютчевым, это та же „совершенная свобода действия“, под которой Данилевский разумел возможность „соединяться“ с любым европейским государством, при условии, если союз с ним в данное время может способствовать осуществлению русских видов.

Исходя из убеждения, что нет ни одного интереса, общего для России и Западу, Тютчев решительно отвергал мысль о возможности полюбовно столкнуться с Европой. С этой стороны большой интерес представляет один документ, принадлежащий перу Тютчева и до сих пор не появлявшийся в печати. В середине 1866 г., к великому негодованию поэта, „кому-то“ пришлось в голову“ настаивать на созвании общеевропейского конгресса для улажения совместными усилиями австро-прусского столкновения. С нескрываемым раздражением Тютчев писал жене, что вся эта „прихоть“ „в сущности была вызвана лишь нежной заботливостью о бедных немецких родственниках“⁸⁰. Так как „милейший князь“ Горчаков „не посмел“ противиться этому проекту, то Тютчев решается на последнее средство. Он обращается лично к Александру II. Письмо его к царю дошло до нас только в отрывке, но и в таком виде оно заслуживает всяческого внимания, хотя бы уже своей несколько неожиданной формой, столь не похожей на обычные верноподданические письма:

„Ваше величество!

Воспрепятствуйте конгрессу, умоляю вас, если еще не поздно. Совершенно очевидно, что в настоящих условиях конгресс не может привести для нас к иным результатам, как разве к тому, чтобы превратить Россию в козла отпущения всех европейских осложнений, принудив вас, государь, согласиться в конце концов на уступку Австрии Дунайских княжеств. Такой исход был бы еще большим несчастьем, чем последствия Крымской кампании, так как он привел бы к тому, чтобы увековечить их. Словом, это было бы отречением от всего нашего прошлого, от всего нашего будущего. Возможно, что мы к этому и пришли бы, но по меньшей мере излишне устремляться навстречу этим возможностям, так сказать — самим вызывать их, а это мы без сомнения совершили бы, приняв участие в конгрессе“⁸¹.

Осторожность требует отметить, что нам неизвестно, было ли это письмо представлено адресату. Но даже если — набросанное сгоряча — оно и не было отправлено, то этим нисколько не ослабляется интерес самого до-



Ф. И. ТЮТЧЕВ

Карикатура И. А. Всеволожского
Исторический Музей, Москва

кумента. Не умаляется его значение и тем, что русский проект потерпел поражение исключительно из-за несогласия других кабинетов. Для нас важно прежде всего намерение, руководившее поэтом. А намерение его совершенно ясно: воздействовать на верховную власть от лица „просвещенного национального мнения“ (мы уже знаем, чье именно мнение разумел под этим Тютчев) и оказать тем самым противоядие „одурающей среде“, в которой она „прозябает“.

В 1867 г. Тютчев писал Аксакову, что „значение нашей печати идет видимо в гору: ее еще не всегда слушают, но всегда слушают“. В глазах Тютчева этого было еще недостаточно. Недостаточно было слушать Аксакова, да вдруг объявить ему предостережение. А между тем Тютчев не мог не сознавать, что те „недоразумения“ между правительством и печатью, на которые он несколько лет назад указывал Горчакову, еще далеко не сгладились. Завоевание доверия правительства к „разумно-честной“ печати делается к концу 60-х годов определенной целью Тютчева, настойчиво им преследуемой. И в этом деле искавший популярности Горчаков оказался ему надежным пособником. Если последний, щеголяя своей откровенностью, давал прусскому посланнику (и не иному как Бисмарку!) читать непросмотренные еще им самим донесения русского посланника в Берлине, то что же удивительного в том, что он посвящал Тютчева в разные тайны русской дипломатии?

„Посылаю вам довольно курьезную вещь, — писал однажды Тютчев И. С. Аксакову. — Мне сообщили ее по секрету из министерства ино-

странных дел и по секрету я передаю ее вам, прося вас убедительно не оглашать ее ни прямо, ни косвенно. Предоставляю вам впрочем заключающимися в ней данными воспользоваться по усмотрению вашему⁸⁹. Это была записка по восточному вопросу, составленная тайным агентом русского правительства в Париже.

В другой раз он известил Аксакова о декларации, сделанной Россией по поводу критского восстания 1867 г., но оставшейся неизвестной за стенами дипломатических кабинетов. Оба письма Тютчева, касающиеся этой декларации, печатаются ниже в приложениях. Суть декларации, к которой присоединились Франция, Северо-германский союз и Италия, заключалась в том, что, „признав бесплодность своих стараний склонить Порту к принятию по отношению к ее подданным христианам мало-мальски человечной политики“, упомянутые западно-европейские страны предоставляют Турцию „последствиям ее поведения“, при этом „слагая с себя ответственность за все, могущее впредь произойти“. С точки зрения Тютчева, декларация эта, провозглашавшая отказ от гарантирования целостности Турецкой империи, являлась „сигналом“ к всеобщему восстанию славян против Порты. Поэтому, передавая на ухо Аксакову то, что ему самому поведал Горчаков, Тютчев нашептывает ему мысль указать в передовой статье „Москвы“ „на шаг, подобный только что предпринятому, как на desideratum, подсказываемое достоинством и интересами России“. Аксаков буквально выполнил советы Тютчева, вплоть до выражения общественного сочувствия „обычно национальным побуждениям политики Горчакова“. Немудрено после этого, что статья Аксакова была прочтена „главою“ русских дипломатов „с признательностью“.

Тютчев когда-то метко охарактеризовал Горчакова „нарциссом чернильницы“. Но какими в сущности нарциссами своих чернильниц были и Тютчев, и Аксаков!.. В их ушах безупречный французский язык горчаковской декларации звучал грозным предостережением по адресу Порты, но они явно переоценивали соотношение борющихся сил. Практический вывод из декларации оказался совсем не в пользу „братев-славян“, и султан ни минуты в этом не сомневался. Декларация попросту развязала ему руки.

Сам Тютчев считал своим долгом печатно высказать свое сочувствие русской дипломатии. 5 декабря 1867 г. он прочел в „Journal de St.-Petersbourg“ дипломатическую переписку русского кабинета по восточному вопросу, а в новогоднем номере газеты „Русский“ (за 1868 г.) появились следующие стихи за подписью Тютчева: „По прочтении депеш императорского кабинета, напечатанных в „Journal de St.-Petersbourg“:

Когда свершится искупленье,
И озарится вновь Восток,—
О, как поймут тогда значенье
Великолепных этих строк!

Как первый яркий луч денницы,
Коснувшись, их воспламенит,
И эти вещи страницы
Озолотит и освятит!

И в излияньи чувств народных,
Как божья чистая роса,
Племен признательно свободных
На них затеплится слеза!

На них записана вся повесть
О том, что было и что есть.
Изобличив Европы совесть,
Они спасли России честь!

Однажды в письме к тому же Горчакову Тютчев назвал одно из своих политических стихотворений „рифмованной аналогией“ передовой статьи официозного „Journal de St.-Petersbourg“. Но бывало и обратное—и передовую статью неофициальной части той же газеты от 15 декабря 1867 г. можно было бы назвать „прозаической аналогией“ только что приведенного стихотворения.

„В высшей сфере,—писал Тютчев Аксакову,—... все сильнее и сильнее чувствуется потребность опираться на общественное мнение, но вот что и на печать налагает обязанность быть все более и более сознательною“. Как видим, эту обязанность он принял прежде всего на себя, и понятной становится та „ободряющая снисходительность“, с какой относился канцлер к его стихотворным подношениям.

VIII

Было бы ошибочно думать, что Тютчев всегда и во всем шел в ногу с правительством, с которым в течение всей своей жизни лично был „в мире“. Он однако не дождал до той поры, когда „Россия и Европа“ сделалась настольной книгой правительственных кругов и когда Скобелев, словно Тиртей нового времени, читал солдатам славянофильские призывы его музыки ⁸⁸.

При нем дело обстояло иначе. Правительство все еще не могло отказать от своего „косого взгляда“ на славянофилов, и чтобы стать официальной идеологией правящей России славянофильство должно было прежде отделаться от возбуждавшей неясные подозрения формулы: „государству—свобода действия, народу—свобода мнения“. Книга Данилевского потому только и заслужила полное признание, что в сознании ее автора эта формула была вытравлена до основания. Напротив И. Аксаков, человек старой славянофильской закваски, подвергся административной высылке из Москвы именно за то, что дерзнул иметь „свободу мнения“ по поводу Берлинского конгресса. Правительство слушало славянофилов, но оно далеко не всегда намерено было их слушаться. На этой почве и Тютчеву предстояло испытать горькое разочарование.

19 октября 1870 г. циркуляром Горчакова к русским дипломатическим представителям за границей Россия заявила о самовольном расторжении статей Парижского трактата, ограничивавших ее права на Черном море.

Хотя внимание Европы в то время и было отвлечено от России франко-прусской войной (на это и рассчитывали инициаторы декларации), все же циркуляр Горчакова, упразднивший ряд важнейших пунктов Парижского трактата, вызвал тревогу среди держав—участниц парижской конференции 1856 г. Даже наиболее спокойно отзывавшийся о декларации прусский король находил, что появилась она в „неудобную“ минуту. Бисмарк однако обозвал русскую дипломатию „наивною“. Он, Бисмарк, если бы оказался на месте руководителя русской внешней политики, поступил бы иначе: стал бы без всяких дипломатических разговоров строить военные суда на Черном море и ждать, пока его попросят о том. „Но германский канцлер,—пишет М. Н. Покровский,—исходил из правильной, без сомнения, оценки реальных интересов Рос-

сии как государства. Он упускал из виду другой момент, в данном случае гораздо более важный: психологию действующих лиц. Александру II было не столько важно право строить броненосцы на Черном море... Ему нужно было загладить свою „трусость“, воспоминания о которой так угнетали его,—загладить каким-нибудь „смелым“ поступком, который бросился бы в глаза Европе и внушил бы ей уважение к силе и могуществу России. Словом, нужен был реванш“. ⁸⁴

Благодаря перевесу в сознании русского правительства этих психологических соображений над реальными интересами, русская дипломатия едва на спасовала перед своей собственной смелостью.

5 января 1871 г. в Лондоне открылись заседания конференции, созданной главным образом по настоянию Англии и Австрии для обсуждения спорных статей Парижского трактата. Первый удар русскому дипломатическому самолюбию был нанесен самой формулой приглашения: конференция созывалась „без заранее предвзятого заключения“. Это означало полное пренебрежение к декларации русского правительства. Но готовился и второй удар, и петербургские дипломаты чуть было не попались в коварно подставленную им западню. Настаивать на прежних ограничениях русской военной мощи было нельзя: теми же ограничениями была связана и Турция, заинтересованная в освобождении проливов из-под международной опеки и являвшаяся теперь как бы молчаливой соучастницей России. Все старания Англии и Австрии были отныне направлены к тому, чтобы изолировать русский флот в Черном море. Вследствие этого предложена была австрийская редакция статьи, предоставлявшей турецкому султану право открывать проливы для военных судов других „неприбрежных“ стран. Только упорное противодействие турецкого уполномоченного заставило изменить эту редакцию: султан получил право открывать доступ в Босфор и Дарданеллы военным судам „дружественных и союзных“ держав всякий раз, когда это представится необходимым для поддержания Парижского трактата. Иначе оплошавшие царские дипломаты оказались бы „более турками, чем сами турки“, как отозвался Александр II.

18 марта 1871 г., в самую годовщину подписания Парижского трактата 1856 г., состоялась ратификация Лондонской конвенции: „статьи Парижского трактата, устанавливавшие нейтрализацию Черного моря, были признаны отмененными, и в глазах публики, не посвященной в закулисные тайны дипломатии, русский двор мог торжествовать победою“. ⁸⁵ К числу таких непосвященных принадлежал очевидно и Тютчев... И когда, приветствуя русскую дипломатию с одержанной победой, Тютчев-поэт говорил:

Да, в сердце русского народа
Святиться будет этот день:
Он наша внешняя свобода
Он Петропавловского свода
Осветит гробовую сень—

вряд ли Тютчев-политик был осведомлен о том, что итоги конференции были бы совсем иные, если бы не „дружеская и союзная“ Турция.

Впрочем именно стихотворение „Черное море“, более чем какое-либо иное, было написано поэтом как бы по обязанности, pour faire acte de présence (как выразился он сам по поводу других своих стихов) на живых картинах, данных в пользу Славянского Благотворительного комитета. Незадолго до этого Тютчеву пришлось на деле убедиться в том, как ошибочны были его утверждения, что значение славянофильского слова „идет видимо в гору“. В этом отношении Аксаков был менее скло-

сделано, правда, с чувством,—пишет она между прочим,—но без расставовки и особенно без подготовлений и обсуждений. Министрам, не исключая вел. кн. Константина Николаевича, объявили об этом, как о решенном вопросе; оставалось поклониться и прокричать: ура⁸⁶.

Подробные политические письма, писавшиеся М. Ф. Бирилевой по просьбе Аксакова, представляют самостоятельный интерес. Но не безразличны они для нас и в связи с настоящей темой. Письма Бирилевой зачастую кажутся продиктованными ее отцом. Знаменательно, что она сама в одном из своих писем к Аксакову, сообщив о только что прочитанной ею корреспонденции из Нью-Йорка, сочла своим долгом прибавить: „не выдав папá, я еще не успела проверить своих впечатлений с его мнением“. Такая проверка своих впечатлений приводила к тому, что самый склад ее писем становился сколком с русских писем Тютчева. Это чувствуется и в только что цитированном письме, где все, начиная с полного одобрения „самостоятельной формы“ циркуляра („наше торжество!“) и кончая ожесточенными нападками на Каткова, слишком увлекавшегося „оговорками“ и „сомнениями“, могло бы быть скреплено собственной подписью поэта. Через посредство дочери последний к тому же не раз обращался к Аксакову, преследуя при этом свою обычную цель „осмысления“ общественного мнения.

Но на сей раз правительство не нуждалось в услугах Тютчева. Одновременно с появлением декларации редакторам московских газет было предписано через специального нарочного министерства внутренних дел „не волновать народные страсти“ слишком открытым изъяснением патриотических восторгов. Московскому городскому голове кн. В. А. Черкасскому тогда же было внушено генерал-губернатором, что адреса не желают.

Как ни негодовал Тютчев на противопоставление „московской публики публике петербургской“, оно напрашивается само собою,—и предостережения чиновника министерства внутренних дел в сущности были излишни. Стоит прочесть например печатаемое ниже пространное письмо московского славянофила И. С. Аксакова к петербургскому славяноведу А. Ф. Гильфердингу. Хотя автор письма в то время и был наполовину не у дел, поскольку публицистическая деятельность была ему воспрещена, тем не менее письмо его служит точным отголоском того общественного мнения, на которое как всегда рассчитывал Тютчев. И оказывается, что лица, вообще считавшиеся единомышленниками, различно отнеслись к правительственной декларации.

Для Тютчева в данном случае вопрос психологический („мысль стряхнуть с себя позор последнего трактата“) как ни как имел первостепенное значение. Инициатива правительства—„национальна“; спасибо и на этом... Для людей дела, какими были и Черкасский, и Аксаков, и Самарин, этого было мало: для них „логические выводы“ из декларации были важнее чувства „нравственного удовлетворения“. „Переход от политики негативной, уклончивой, к политике положительной и даже агрессивной“ сам по себе всегда им улыбался, но приходилось ведь считаться со своими силами в данный момент. „Уроки истории“ невольно приходили на память, агрессивная политика вызывала воспоминание о Севастополе, Севастополь тянул за собой... Парижский трактат и еще более тяжкие для славянофилов воспоминания о революционной пропаганде и крестьянских волнениях начала 60-х гг. При таком настроении никто и не заикался в Москве о всеподданнейшем „благодарственном“ адресе.

Однако когда вслед за адресом Петербургской городской думы „самого пошлого казенного содержания“ (по словам А. Ф. Аксаковой) по-

следовали подобные же адреса от других городов,—это молчание Москвы стало казаться преднамеренной фрондой. Тогда и Московской городской думе было сделано новое внушение, что адрес подать не мешало бы.

История с нашумевшим в свое время московским адресом хорошо известна. Неизвестен остался лишь его настоящий вдохновитель.

На петербургских родственников Аксакова его точка зрения на правительственную декларацию произвела не вполне благоприятное впечатление. Может быть именно поэтому добросовестно исполнявшая обязанности посмертного корреспондента „Москвы“ М. Ф. Бирилева и поторопилась поделиться с Аксаковым „хорошими вестями“, привезенными ее отцом из Царского: ему удалось переговорить обо всем с самим Горчаковым. Государственный канцлер разумеется уверял поэта в том, что правительство „ни в букве, ни в духе“ не согласится изменить „ни единому провозглашенному в декларации слову“ и указывал на возможность конференции „для разбора прочих статей трактата“, но лишь „в более или менее отдаленном будущем“. Не знаем, подействовали ли на Аксакова успокоительно подобные заверения,—он был в числе тех, кто имел основания „не безусловно доверять правительству“. Но чрезвычайно знаменательно, что Тютчев счел нужным ознакомить Горчакова с письмом Аксакова к Гильердингу и немедленно же через посредство дочери сообщил зятю все, что он сам разузнал от канцлера. На письмо Аксакова последний „возразил, что его первой заботой интересы России, но что затем он слишком ясно сознает, насколько обязательна... малейшая надежда, возбужденная в славянах, и что потому тщательно избегает всякого слова, которое они могли бы истолковать превратно. Вообще он желает (поясняла М. Ф. Бирилева), чтобы на декларацию смотрели как на искреннее и полное изложение намерений русского правительства, которых оно во что бы то ни стало будет твердо держаться“⁸⁷. Вряд ли однако, расточая эти успокоительные убеждения, Горчаков на самом деле был так уверен в себе, в своей непоколебимой решимости не отступить на попятный двор. Сомнения по этому поводу более чем возможны и оправдываются всем ходом лондонской конференции 1871 г.

Декларация 19 октября отнюдь не была для русского правительства „источником новой крепости“: оно прямо-таки боялось, как бы „общественное мнение“ не сочло ее за первый шаг на пути к дальнейшим преобразованиям. От общества требовалось только одно: „поклониться и прокричать „ура!“ А этого-то как раз и не хотели учесть составители московского адреса, не учитывая, как видно, и сам Тютчев, когда просил передать Аксакову, что, по его мнению, вся мыслящая Россия должна всенародно объявить, что „она сочувственно и единодушно относится к почину государя, но что будет пуще прежнего унижена и оскорблена, если теперь, ступив вперед, остановятся на полдороге“⁸⁸. Именно в таком смысле и был составлен адрес Московской городской думы, выдвигавший в качестве „довершения благих начинаний „требования (вернее „чаяния“) свободы мнения и печатного слова, свободы церковной и свободы совести, само собою разумеется свободы „разумной“ и притом только для „благомыслящей“ части общества. Правда, точки над и в московском адресе были расставлены рукою Аксакова, и все же нельзя не назвать Тютчева его непосредственным вдохновителем. Будь он москвичем, он непременно бы подписал адрес. Недаром он сам был так удовлетворен им и, едва получив его, писал дочери Анне: „... Правительство, которое послушалось бы благого внушения принять его во всей целости, оказалось бы весьма сильным перед лицом Европы“. Но этого не случилось. Правительство не только не подумало

„принять его во всей целости“, но и вовсе отказалось его принять. По поводу адреса возникло даже особое дело „о славянских проделках“, которое предписано было „хранить секретно“ в III Отделении⁸⁹.

Вскоре и москвичи с изумлением узнали, что царь „чрезвычайно рассержен“, „вне себя“, а что в адресе ухитрились усмотреть не более не менее как „стремления конституционные и революционные“⁹⁰. И. С. Аксаков дал полную волю своей досаде в обширном письме к К. П. Победоносцеву. Апология московского адреса в частном письме к Победоносцеву принимает под пером Аксакова чуть ли не форму публицистической статьи. Публицист под запретом не скрывает горького убеждения, к которому он пришел, что „правительству нужно не общественное мнение, искренне и свободно высказывающееся, а только подобие общественного мнения, на которое можно было бы опираться перед Европой“.

В ответном письме к Аксакову Победоносцев подробно излагает свою точку зрения на адрес Московской городской думы. Его пространный ответ в общем можно было бы свести к одной поговорке: то же бы ты слово, да не так бы молвил... А тут еще какое слово! О свободе... „Не могли вы ожидать, чтобы государь понял и принял в идее, как целое, формулу свободы: слишком хорошо известно, что в последнее время стало ему подозрительно все, что разумеет свободу как право, утвержденное на идее“⁹¹.

Тютчевы были очень озабочены судьбой московского адреса. Ведь поэт „ручался“ за него, когда князь Горчаков жаловался ему на поведение петербургского общества. И вдруг... адрес не принят. И не только не принят, но составители его признаны людьми неблагомыслящими.

Поэт не мог считать себя непричастным к этому делу. Он и не думал скрывать этого. „Я слышал, что вы нас осуждаете“, сказал он Победоносцеву, встретившись с ним⁹². Что же касается М. Ф. Бирилевой, то она старалась наверстать потерянное и усердно распространяла адрес в списках. Не лишены интереса собранные ею отзывы об адресе, образчики коих она не замедлила сообщить Аксакову: „...у вас изумительный дар возбуждать единодушие в том или другом направлении, смотря, разумеется, по сферам и слоям общества. Здесь большей частью воздают беспристрастно справедливую хвалу слогу, но затем один смущается злонамеренным направлением слов, другому конец не по сердцу, третьему представляется требование конституции с парламентом, камерами (палатами. — К. П.) и проч. Иной разразится глубокомысленным замечанием, что так можно обращаться к митрополиту! Слышала я также, что вы, говоря от имени дворянства как единственного мыслящего сословия в России, весьма плохо понимаете дух его стремлений. Всем без исключения загадочно, в чем бы могла состоять свобода совести. Милее всего бывает, когда из вежливости хотят щадить мою родственную щекотливость. Из вообще благонамеренных Е. Н. Карамзина очень волнуется: она считает подобное заявление крайне несвоевременным. Графиня Антонина Дмитриевна (Блудова. — К. П.) поручила мне передать вам, что от папы и от вас она ничего иного не ожидает, но что бестактность кн. Черкасского изумляет и огорчает ее. Во-первых, она не одобряет наставительный тон адреса и она просит вас вспомнить, что одному римскому владыке доступна непогрешимость *ex cathedra*; главное же смущает ее требование свободы церковной, равняющейся, по ее мнению, беспрепятственному распространению безбожия. Папа уверяет, что по ее взгляду вся Россия должна относиться к верховной власти, как бывало она к отцу, устраивая для него сюрпризом семейные праздники и драматические представления. Мне ка-

А. Д. БЛУДОВА
Фотография 1860-х гг.
Собрание Н. И. Тютчева, Москва



жется, что она раз навсегда решила не грешить против власти не только словом или делом, но также мыслию и суждением, и принимать все приказы и распоряжения, как от десницы всемогущего⁹³.

Но не только официальная „славянофилка“ гр. Антонина Блудова нападала на злополучный адрес (а ведь он был составлен главой тогдашних славянофилов!), — резко порицал его и тот, кто „родом был не славянин, но был славянством всем усвоен“: А. Ф. Гильфердинг открыто заявлял, что не к чему „писать адреса, которые заведомо должны произвести неблагоприятное впечатление на правительство“⁹⁴.

В конце концов к такому же приблизительно убеждению пришел и сам Тютчев, правда под влиянием досады на правительство. Главное значение московского адреса заключалось, по его мнению, в том, что он вполне обличил „истинную природу отношений“, существовавших между „прелестным“ русским обществом и верховной властью, и вызвал наружу таившиеся в нем „сокровища глупости, невежества и бездарного раболепства“. Стоило только Александру II найти адрес „не совсем честной и не совсем патриотической попыткой“ „навязать ему нечто вроде конституции“, как большинство русской публики тотчас же признало его неуместным. „Можно было бы подумать, — пишет Тютчев, — что речь идет о каком-то пугливом звере, к которому нельзя подойти иначе, как тщательно спрятав малейший лоскуток красной материи, который случайно имеешь на себе“. Вот тут-то на поэта и напало сомнение: а стоит ли приближаться к этому зверю, если он столь пуглив? „Есть стихи Микель Анджело, — пишет Тютчев дочери, — в которых говорится следующее о том времени, когда он жил:

*Mentre che il danno e la vergogna dura
Non sentir, non pensar è gran ventura,*

что означает по-русски: пока глупцы царствуют и управляют, умные люди должны бы молчать“.

Подобные отзывы Тютчева звучат чем-то большим, чем мимолетные срывы досады или раздражения. Это — крик души человека, органически связанного со своим классом, осужденным ходом истории на разложение и гибель, и если не сознающего, то по временам остро чувствовавшего обреченность того политического строя, которому он служил как поэт и как публицист-политик. Но дальше этого чувства дело не шло. Тютчев никогда не изменял дворянско-помещичьей России. Мир революционных идей оставался ему всегда чужд и враждебен.

Тютчев многое проглядел, но и многое видел. Всю жизнь смотревший на „спектакль“, развертывавшийся перед ним в мире, из ложи — и часто довольно близкой к царской ложе, — он все же в последние десять-двадцать лет заглядывал и за кулисы. И прежний дипломат, намеренно закрывавший глаза на „несовершенства общественного строя“, на „недостатки администрации“, на „положение низших классов“ (вспомним его слова: „мы не одни на белом свете“), теперь оказался лицом к лицу с действительностью. И Тютчева начинает охватывать сомнение в возможности прикрыть все это византийской тканью. Крепостная Россия, представившаяся однажды его взорам во всей своей обнаженности, вызывает у него уничтожающие строки:

Смрад, безобразье, нищета —
Тут человечество немеет...

В обширном эпистолярном наследии поэта есть одно письмо, которое заслуживает того, чтобы быть процитированным здесь. Это ответ на письмо младшей его дочери Бирилевой, писавшей отцу о бедственном положении „низших классов“ в окрестностях Брянска. Письмо Тютчева относится к августу 1867 г.:

„Увы! ничто не позволяет думать, чтобы факты, отмечаемые тобою в Брянском уезде, носили исключительный характер. Р а з л о ж е н и е п о в с ю д у. Мы двигаемся к пропасти не из излишней пылости, а просто по нерадению. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что по словам людей, наиболее осведомленных, нельзя этого постичь, не убедившись в том воочию. Благодаря нелепым переговорам о последнем займе, которые постыдным образом потерпели неудачу, банкротство возможно более чем когда-либо и станет неминуемым в тот день, когда мы будем призваны подать признак жизни. И тем не менее, даже в виду подобного положения вещей, произвол, как и прежде, дает себе полную волю. Вчера я узнал от Мельникова (министра путей сообщения. — К. П.) подробность поистине ошеломляющую. Во время последнего путешествия императрицы ей предстояло проехать на лошадях триста пятьдесят верст между двумя железными дорогами, при чем на каждый перегон требовалось двести лошадей, которых пришлось привести за несколько сот верст и содержать в течение недель в этой местности, лишенной всего, и куда надо все доставлять. Ну так вот, знаешь ли, во что обошлось государству это расстояние в триста пятьдесят верст? Всего лишь безделица: полмиллиона рублей. Это просто невероятно, и конечно я никогда не счел бы это возможным, если бы цифра не была засвидетельствована мне таким человеком, как Мельников, который узнал об этом от одесского генерал-губернатора. Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом: что-то прогнило в королевстве датском“⁹⁵.

Цитированные строки написаны тем же человеком, который за двадцать лет до того утверждал, что „в Европе существуют только две

действительные силы — Революция и Россия". Призрак, давно уже бродивший по Западу, прошел теперь совсем близко перед глазами Тютчева. И только чувство классового самосохранения мешало ему ясно осознать, что недалек уже тот час, когда в Европе останется только одна действительная сила — Революция.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Погодин, М. П., „Воспоминание о Ф. И. Тютчеве“, — „Московские Ведомости“ от 29.VII. 1873 г., № 90.

² „Старина и Новизна“, кн. 21, П., 1916, стр. 156. Все письма Тютчева к жене цитируются в переводе с французского.

³ Неизданная заметка бар. К. фон Пфеффеля о Тютчеве. — Мурановский архив. Перевод с французского.

⁴ Благой, Д., „Мураново“, М., 1925, стр. 47.

⁵ Делепа без даты за № 11. Получена 28.VII. 1822 г. — Архив Внешней Политики: М. И. Д., Канцелярия, арх. № 8060, л. 25. Текст дипломатических документов цитируется в переводе с французского. Все даты приводятся по старому стилю.

⁶ Из депеши от 21.IV. 1833 г., № 12, составленной Тютчевым. — Там же, арх. № 142, лл. 62—63.

⁷ Там же, арх. № 8086, л. 128.

⁸ Там же, лл. 130—131.

⁹ „Reisebilder“, ч. III, гл. XXX.

¹⁰ См. „Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук СССР“, 1928, т. I, кн. 2, стр. 529—532.

¹¹ Из письма кн. И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 9.XI. 1874 г. — Мурановский архив. Перевод с французского.

¹² Мурановский архив. Перевод с французского.

¹³ Из инструкции Кокошкину от 12.V. 1839 г. — Архив Внешней Политики: М. И. Д., Канцелярия, арх. № 207, стр. 123—125.

¹⁴ Из депеши А. М. Обрезкова от 26.XI. 1838 г., № 37. — Там же, арх. № 221, л. 134.

¹⁵ Покровский, М. Н. „Дипломатия и войны царской России в XIX столетии“, М., 1923, стр. 83.

¹⁶ Делепа от 12.II. 1839 г., № 7. — Архив Внешней Политики: М. И. Д., Канцелярия, арх. № 207, л. 25.

¹⁷ См. изд. 2-е, М., 1886, стр. 25—26.

¹⁸ „Уrania, Тютчевский альманах“, Л., изд. „Прибой“, 1928 г. стр. 132.

¹⁹ См. Чулков Г., „Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева“, М.-Л., изд. „Academia“, 1933.

²⁰ Мурановский архив. Перевод с французского.

²¹ См. письмо Э. Ф. Тютчевой к К. фон Пфеффелю от 18.V. 1881 г. — Картоотека Мурановского музея.

²² В. М. Лавровский составила для Мурановского музея таблица „Тютчев и его время“, имеющая большое вспомогательное значение при ознакомлении с творчеством Тютчева. Отмеченные мною наблюдения В. М. Лавровского заключаются в его рукописных комментариях к таблице.

²³ Статья „Россия и Германия“.

²⁴ Аксаков, И. С., „Биография Ф. И. Тютчева. М., 1886, стр. 65.

²⁵ Там же, стр. 50—77.

²⁶ „Московские Ведомости“ от 29.VII. 1873 г., № 90.

²⁷ Письмо Ю. Ф. Самарина к И. С. Аксакову от 22.VII. 1873 г. — Мурановский архив.

²⁸ Казанович, Е., „Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева — „Уrania, Тютчевский альманах“, Л., изд. „Прибой“, 1928, стр. 151.

²⁹ Там же.

³⁰ „Биография Ф. И. Тютчева“, стр. 28.

³¹ Там же, стр. 29. Перевод с французского.

³² Там же, стр. 30. Перевод с французского.

³³ Казанович, Е., „Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева“, стр. 152.

³⁴ Там же, стр. 167.

³⁵ Перевод с французского.

³⁶ См. „Остафьевский архив кн. Вяземских“, кн. IV, СПб., 1899, стр. 333.

³⁷ Аксаков, И. С., „Биография Ф. И. Тютчева“, стр. 31.

³⁸ Там же, стр. 203.

³⁹ См. его статью „Творчество Тютчева“. — „Три века“, М., изд. „Советская литература“, 1933, стр. 217—220.

- 40 Сочинения В. А. Жуковского, СПб., 1902, т. XII, стр. 40.
- 41 ГАФКЭ, ф. 195, № 213, т. II, л. 172. Перевод с французского.
- 42 Письмо к жене от 24.II. 1854 г. — „Старина и Новизна“, кн. 19, П., 1915, стр. 109.
- 43 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IX, М., 1933, стр. 386.
- 44 Письмо к жене от 13.VI. 1854 г. — „Старина и Новизна“, кн. 19, стр. 118.
- 45 Письмо от 24.X. 1855 г. — Там же, стр. 149.
- 46 Барсуков, Н., „Жизнь и труды М. П. Погодина“, кн. 13, СПб., 1899, стр. 18.
- 47 „Записки А. И. Котелева“, Берлин, 1884, стр. 81—82.
- 48 Барсуков, Н., „Жизнь и труды М. П. Погодина“, кн. 13, стр. 126.
- 49 Письмо к жене от 27.VII. 1854 г. — „Старина и Новизна“, кн. 19, стр. 126.
- 50 Старчаков, А., „Литературные заметки, Ф. И. Тютчев“, — „Известия ЦИК и ВЦИК“ от 9.XII. 1928 г.
- 51 Письмо к жене от 1.VI. 1857 г. — „Старина и Новизна“, кн. 19, стр. 65.
- 52 Письмо к ней же от 9/X 1870 г. — Там же, кн. 22, стр. 267.
- 53 „Россия и Европа“, СПб., 1886, стр. 469.
- 54 Письмо к кн. Е. Э. Трубецкой от 15.VII. 1872 г. — Мурановский архив. Перевод с французского.
- 55 Письмо к кн. Е. Э. Трубецкой от 6.XII. 1871 г. — Мурановский архив. Перевод с французского.
- 56 Письмо от 21.VII. 1866 г. — „Старина и Новизна“, кн. 21, стр. 228—229.
- 57 Письмо к жене от 21.V. 1855 г. — Там же, кн. 19, стр. 134.
- 58 „Московские Ведомости“, 1865, № 54; ср. С. Неведенский (С. С. Татищев), „Катков и его время“, СПб., 1899, стр. 215.
- 59 Картотека Мурановского музея.
- 60 Картотека Мурановского музея.
- 61 „Старина и Новизна“, кн. 21, стр. 201.
- 62 Там же, стр. 203.
- 63 Картотека Мурановского музея. Ср. письмо Тютчева к жене от 7.VII. 1863 г. — „Старина и Новизна“, кн. 21, стр. 205.
- 64 „Воспоминания, За кулисами политики и литературы“, Л., изд. „Прибой“, 1929, стр. 60—62.
- 65 Письмо к жене от 11.VII. 1863 г. — „Старина и Новизна“, кн. 21, стр. 205.
- 66 Там же.
- 67 Феоктистов, Е. М., „Воспоминания“, стр. 63.
- 68 См. письмо к жене от 22.VII. 1863 г. — „Старина и новизна“, кн. 21, стр. 206.
- 69 Феоктистов, Е. М., „Воспоминания“, стр. 64—65.
- 70 „Россия и Европа“, стр. 418.
- 71 Картотека Мурановского музея.
- 72 Письмо от 22.VII. 1863 г. — „Старина и Новизна“, кн. 21, стр. 206.
- 73 Письмо к жене от 16.VIII. 1863 г. — Там же, стр. 209.
- 74 Там же, стр. 213.
- 75 „Концы и начала“. — „Еще раз, Сборник статей Искандера“, Женева, 1866, стр. II.
- 76 Письмо от 1.VIII. 1863 г. — „Старина и Новизна“, кн. 21, стр. 207—208.
- 77 Цитируется по автографу горчаковского архива (ГАФКЭ).
- 78 Мурановский архив.
- 79 „Россия и Европа“, стр. 483.
- 80 Письмо от 28.VII. 1866 г. — „Старина и Новизна“, кн. 21, стр. 229.
- 81 ИРЛИ, архив С. П. Фролова. — Текст сообщен мне В. В. Гиппиусом. Перевод с французского Е. В. Герье.
- 82 Письмо от 4.I. 1868 г. — Мурановский архив. Подлинник по-русски.
- 83 См. картотеку Мурановского музея — запись под 26.VI. 1882 г. (из воспоминаний А. Ф. Аксаковой).
- 84 „Дипломатия и войны царской России“, стр. 238.
- 85 Там же, стр. 243.
- 86 Письмо к И. С. Аксакову от 8.XI. 1870 г. — Мурановский архив.
- 87 Письмо М. Ф. Бирилевой к И. С. Аксакову от 15.XI. 1870 г. — Мурановский архив.
- 88 Письмо М. Ф. Бирилевой к И. С. Аксакову от 8.XI. 1870 г. — Мурановский архив.
- 89 Архив Революции: III отделение, 2 секретный архив, карт. 36, № 394, 1870 г.
- 90 Тютчева, А. Ф., „При дворе двух императоров“, ч. II, изд. М. и С. Сабашниковых, 1929, стр. 213, 218.
- 91 Письма И. С. Аксакова и К. П. Победоносцева см. в „Красном архиве“, т. 6 (31), М.-Л., ГИЗ, 1928.
- 92 Тютчева, А. Ф. „При дворе двух императоров“, стр. 213.
- 93 Письмо от 2.XII. 1870 г. — Мурановский архив.
- 94 См. письмо М. Ф. Бирилевой к А. Ф. Аксаковой от 6.XII. 1870 г. — Мурановский архив.
- 95 Мурановский архив. Перевод с французского.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. ПИСЬМА Ф. И. ТЮТЧЕВА

Материалы №№ 1—3, 5—6, 8—12, 14, 18, 23—27 — письма Тютчева к кн. А. М. Горчакову — печатаются впервые по подлинникам, хранящимся в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи (Горчаковский фонд). №№ 25—27 писаны под диктовку поэта рукой его жены Э. Ф. Тютчевой; №№ 25 и 27 подписаны им собственноручно.

Материалы №№ 4, 7, 19, 21 и 22 — письма Тютчева к А. Ф. Тютчевой-Аксаковой — печатаются впервые по автографам, хранящимся в архиве Мурановского музея.

Материалы №№ 13, 16, 17 и 20 — письма Тютчева к И. С. Аксакову — печатаются по подлинникам, хранящимся в архиве Мурановского музея. Перед текстом № 16 приписка, обращенная к А. Ф. Аксаковой: «*ceci est pour ton mari*» («это для твоего мужа»). Два отрывка из № 13 (от строки: «Сочувствие к Москве несомненное...» до «биться как рыба об лед» и от «Война состоится...» до «в нашем оратории») были опубликованы Г. И. Чулковым в его статье «Тютчев и Аксаков в борьбе с цензурой» («Мурановский сборник», вып. I, стр. 19—20).

Письмо Тютчева к Ю. Ф. Самарину (№ 15) печатается впервые по автографу, хранящемуся в архиве Мурановского музея. Письма Тютчева, за исключением №№ 13, 17 и 20, писаны на французском языке. Перевод №№ 19 и 21 принадлежит Е. В. Герье. Перевод всех остальных писем Тютчева выполнен К. В. Пигаревым.

1

А. М. ГОРЧАКОВУ¹

Вторник, 21 апреля, 1859.

Князь, хочу просить вас об одной милости и, чтобы не отнимать у вас времени, прямо скажу вам в чем дело: это посылка курьером в Берлин в течение первой половины будущего месяца. Если бы случайно у вас оказались, князь, какие-нибудь бумаги или какие-либо инструкции в Мюнхен, я был бы счастлив взять на себя их доставку, так как после Берлина мне бы хотелось поехать на несколько дней в Мюнхен²... А теперь, князь, позвольте мне еще раз сказать вам, и из самой глубины моего сердца: да поможет вам бог, ибо более, чем когда-либо, вы — человек необходимый, человек незаменимый для страны. Ах, дал бы бог, чтобы это был лишь пустой комплимент, а я кажется достаточно вас знаю, князь, чтобы быть уверенным в том, что вы вполне разделяете горечь, которую испытываю я, утверждая это перед лицом настоящего положения, довольно-таки серьезного уже в данный момент и которое с минуты на минуту может невероятно ухудшиться³.

Но не опасности создавшегося положения сами по себе пугают меня за вас и за нас. Вы обретете в самом себе достаточно находчивости и энергии, чтобы противостоять надвигающемуся кризису. Но что действительно тревожно, что плачевно выше всякого выражения, — это глубокое нравственное растение среды, которая окружает у нас правительство и которая неизбежно тяготеет также над вами, над вашими лучшими побуждениями.

Я право не знаю, стояло ли когда-нибудь во главе какого бы то ни было общества что-либо столь же посредственное, в отношении души, характера и ума, как то, что стоит во главе нашего. Все, что я замечаю, все, что я слышу вокруг себя, внушает мне как бы предчувствие невероятной подлости, которая пока еще назревает и, чтобы осмелеть, ждет новых осложнений, но которая в данный момент непременно разразится открыто... И союз с Австрией еще раз делается формулой для всех этих устремлений... Следует заметить, что в настоящее время союз с Австрией или какой бы то ни было постыдный полувозврат к этому союзу не имеет более определенного и особенного смысла и значения, но сделался как бы *credo* всех этих подлостей и посредственностей, как бы лозунгом и условным знаком всего антинационального по эгоизму или происхождению...

И вот эти-то люди являются вашими естественными врагами... Они не простят вам разрушения системы, которая представляла как бы родственные узы для всех этих умов, как бы политическое обиталище всех этих убеждений. Это — эмигранты, которые хотели бы вернуться к себе на родину, а вы им препятствуете... Я знаю, князь, что до сих пор вы пользовались сочувственной поддержкой государя, и надо надеяться,

что она не изменит вам и впредь... Это имеет огромное значение... но все-таки этого недостаточно... Перед лицом создавшегося положения и в виду того, во что оно может превратиться, сам государь в вопросах внешней политики не менее вас нуждается в более твердой точке опоры, в национальном сознании, в достаточно просвещенном национальном мнении, а тут, как нарочно, неумелость или взаимные предубеждения позволили накопиться недоразумениям между печатью и правительством... Все это, я знаю, было сказано и пересказано сотню раз. В силу беспрестанных повторений это сделалось нелепой, тошнотворной пошлостью, и тем не менее в данных условиях эти общие места, более чем когда-либо, являются острой злободневностью⁴...

Одним словом, князь, для вас, так же как и для самого государя, нет противсроды, которая осаждает и более или менее угнетает вас обоих, нет, говорю я, другой точки опоры, другого средства противодействия, как во мнении извне, в великом мнении — в выражении общественного сознания... Но для этого нужно разрешить ему высказываться и даже вызывать его на это...

Система, которую представляете вы, всегда будет иметь врагами всех тех, кто является врагами печати. Как же печати не стать вашей союзницей?..

Я еду, князь, на три или на четыре дня в Москву. Я увижу кое-кого из этих господ... Что хотите, чтобы я им передал?⁵

Ф. Тютчев

¹ Горчаков, кн. Александр Михайлович (1798—1883) — министр иностранных дел с 1856 по 1882 г., государственный канцлер с 1867 г.

² 9 мая 1859 г. Тютчев выехал курьером в Берлин, куда и прибыл 13-го числа. Отпуск был дан ему на три месяца, но был продлен еще на шесть недель. Однако в Петербург поэт возвратился только 2 ноября. Из Берлина Тютчев, как и предполагал, проехал в Мюнхен, где пробыл около недели (с 22 по 29 мая), а оттуда направился лечиться в Вильдбад.

³ Чтобы понять, о чем идет речь в этом письме Тютчева, следует припомнить тогдашнюю международную политическую обстановку.

Вмешательство Сардинии в Крымскую кампанию (в январе 1855 г.) было вызвано надеждой сардинского правительства добиться разрешения итальянского вопроса по окончании войны на общеевропейском конгрессе. Парижский конгресс 1856 г., хотя и не оправдавший этих надежд, дал однако возможность Кавуру заявить в туринском парламенте, что Пьемонт не зря проливал кровь и не попусту расточал свое золото. С этих пор дипломатические переговоры между Сардинией и Францией имели целью привлечь последнюю к открытому вмешательству в австро-сардинские отношения. Переговоры эти привели к пломберскому соглашению (июль 1858 г.). Мысль об итальянской федерации конечно вовсе не соответствовала объединению Италии в том смысле, в каком представляли его себе итальянские патриоты, но Кавур не противоречил Наполеону, сознавая, что раз первые шаги к освобождению Италии будут предприняты, революция сумеет пойти своим путем.

Уже в 1858 г. отношения между Францией и Австрией на почве итальянского вопроса настолько обострились, что война между ними казалась неминуемой. Дружественная Россия Франция рассчитывала на ее поддержку в смысле возбуждения против Австрии подвластных ей славянских племен. Согласно программе Наполеона, при заключении мира Россия должна была приобрести Галицию и сверх того ей сулился пересмотр в ее пользу Парижского трактата 1856 г.

С целью противодействия франко-русскому союзу, Англия предприняла попытки к примирению Пруссии с Австрией: прусско-австрийский союз, к которому примкнула бы и Англия, послужил бы противовесом единению Франции и России.

Между тем в феврале 1859 г. Россия внесла предложение об обсуждении и разрешении на общеевропейском конгрессе возникших по итальянскому вопросу недоразумений. Австрия воспротивилась допустить к участию в этом конгрессе Сардинию, а в апреле предъявила ей ультиматум, требовавший немедленного разоружения. Решительный отказ туринского правительства послужил непосредственным поводом к войне.

Попытки английской дипломатии достигли некоторых действительных результатов, и как только вспыхнула война (29 апреля н. с. 1859 г.) Пруссия мобилизовала в защиту Австрии свои военные силы; примеру ее последовали прочие государства Германского союза.

Вмешательство России в войну между Италией, Францией и Австрией ограничилось циркулярной депешей Горчакова русским дипломатическим представителям при немецких дворах. Заявляя о том, что Франция не питает враждебных замыслов по отношению к Германии, русский министр иностранных дел предостерегал последнюю от враждебных выступлений против Франции, так как подобные выступления нарушили

бы цель учреждения Германского союза как «комбинации исключительно оборонительного свойства» и поступили бы противно узаконившим его существование договорам.

Хотя циркуляр Горчакова в глазах французских правительственных кругов и стоил сотысячной армии, все же деятельное вооружение Германского союза послужило одной из главных причин предложенного Наполеоном III и заключенного 8 июля (н. с.) перемирия. Виллафранкский договор, как и следовало ожидать, не оправдал надежд итальянских патриотов и вызвал сильнейшую ненависть по отношению к тому, кто еще так недавно самоуверенно провозгласил лозунг: «Италия, свободная от Альп до Адриатики».

⁴ Безнадёжно отрицательные высказывания о русской правительственной «среде» — и в выражениях близких к его словам в письме к Горчакову — часто встречаются в письмах Тютчева. В годы непосредственно за Крымской кампанией малейшее сочувствие к «неблагодарной» Австрии действительно рассматривалось русским общественным мнением известного толка как «условный знак» антинационального направления мысли. Когда в 1855 г. Тютчев негодующим стихотворением встретил приезд австрийского эрцгерцога на похороны Николая I, негодование поэта разделялось и в придворных кругах. Но к концу 50-х годов настроение при дворе переменялось. Почти накануне войны между Италией и Австрией, 16 апреля 1859 г., старшая дочь Тютчева Анна записала в своем дневнике: «Императрица (Мария Александровна. — К. П.) рассказывала мне, что недавно на танцевальном вечере у Ольденбургских добрейший принц Петр (Георгиевич Ольденбургский. — К. П.) затеял с ней политический разговор с тем, чтобы доказать ей, что Австрия совершенно права и что не подобает быть заодно с теми, кто нападает на ее итальянские владения. На это государь сказал: «О, у нас здесь немало трусов, которые думают так же и дрожат при мысли о войне и желают только одного, как можно скорее восстановить приятельские отношения с Австрией». Это верно. Атмосфера полна Deutsche Strömungen (немецкие течения), как их остроумно называет великая княгиня Елена Павловна. Барон Петр Мейендорф, мнение которого имеет большое значение при дворе, его жена, сестра графа Буоля, военный министр Сухозанет, министр Чевкин, Панин, Долгорукий — все они на стороне Австрии, все они твердят, что владея Польшей нельзя поддерживать права угнетенных народностей. Но Горчаков теперь держит себя превосходно» (А. Ф. Тютчева, «При дворе двух императоров», ч. II, изд. М. и С. Сабашниковых, 1929, стр. 193).

⁵ Тютчев приехал в Москву 24 или 25 апреля и вернулся в Петербург 1 мая. В письме к жене от 27 апреля Тютчев сообщает о предстоящем обеде у Н. Ф. Павлова с редакторами «Русского Вестника» (см. «Старина и Новизна», кн. 21, П., 1916, стр. 156).

2

А. М. ГОРЧАКОВУ

Понедельник, 16 апреля 1862.

Вот, князь, карточка, которую вы благоволили у меня просить. Никогда не будет она принадлежать вам более, нежели тот, кого она предназначена вам напоминать.

Примите, князь, мои самые сердечные приветствия.

Ф. Тютчев

3

А. М. ГОРЧАКОВУ

Вторник

Из недр своей постели, где меня удерживает нечто, что вероятно было приступом подагры, пишу я вам, князь, чтобы узнать о вашем здоровье. Мне сказали вчера, что вам опять стало хуже и что вы даже принуждены были лечь в кровать. Ради бога, одно слово в ответ, но только устное и, если возможно, благоприятное.

Если бы вы были в числе людей нужных, я трепетал бы за вас, но вы — человек необходимый, и я чувствую себя несколько успокоенным.

Тысяча нежных почтительных приветствий.

Ф. Тютчев

Судя по почерку, каким написано это письмо, можно думать, что оно относится к концу 50-х — началу 60-х годов. Это не почерк поэта последних лет его жизни. Однако датировать письмо более точно пока не представляется возможным. На протяжении четырех лет — с 1860 по 1863 г. — Тютчев трижды страдал подагрой. В 1860 г. поэт не выходил из дому с 21 февраля по начало апреля и был вынужден летом отправиться для лечения за границу. Приступы подагры упорно возобновлялись в следующем году, в течение четырех месяцев (сентябрь—декабрь), и весной 1863 г.

А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ¹

Москва, 25 июня [1863].

Я получил письмо твое, милая дочь, и разумеется не допускаю возможности не повидаться с тобою при твоём проезде через Москву².

Признаюсь, все это ваше путешествие для меня загадка и ключа к ней мне так до сих пор и не удалось найти. Вы, стало быть, убеждены, даже более того — уверены, что не будет войны этим летом. На чем основана эта уверенность? Вот, что мне хотелось бы знать.

При данном положении ничто, по-моему, не оправдывает такой чрезмерной уверенности. Вчера я провел два часа у нашего друга Аксакова³ и нашел у него вполне разумный взгляд на дело и более действительное понимание вопроса, чем у кого бы то ни было. Его статьи и случайные вспышки — впрочем, более чем понятные — не мешают тому, что его точка зрения единственно верная и правильная. Что она не совпадает с полем зрения наших великих людей в Петербурге, это возможно. Но еще вопрос, могут ли люди, страдающие косоглазием, обладать вполне правильным полем зрения.

Виделся я также с Катковым⁴ и его присными; и хотя его газета пользуется вполне моими симпатиями и я признаю огромные услуги, оказываемые им в настоящее время стране, — Катков, с которым я всесторонне обсудил данное положение, понимает его не так ясно, как наш друг.

Здесь ждут ответов Горчакова на иностранные ноты с некоторым опасением, несмотря на все уверения, которые милейший князь уполномочил меня давать всем и каждому, в его непоколебимой решимости не делать ни малейшей уступки. Что меня лично успокаивает на этот счет, это невозможность сделать уступку. Наши противники в своих требованиях лишили нас возможности довести их до абсурда, они сами, по собственному почину и сразу, стали в такое именно положение. К несчастью, может случиться на сем свете — и уже не впервые, — что благодаря простому превосходству грубой силы нелепость восторжествует над разумом и правом.

Но вот мои брат⁵ и сестра⁶ врываются ко мне, т. е. в комнату к бабушке⁷, откуда я тебе пишу. У меня едва остается время, чтобы обнять тебя и сказать: до свидания, до скорого. Храни тебя бог, моя милая дочь. Мое злосчастное здоровье немного лучше.

Весь твой

¹ Тютчева, Анна Федоровна (1829—1889), старшая дочь поэта, фрейлины императрицы Марии Александровны; с 1866 г. замужем за И. С. Аксаковым.

² В этом году А. Ф. Тютчева сопровождала царскую фамилию в Крым, в Ливадию.

³ Аксаков, Иван Сергеевич (1823—1886) — писатель-публицист, лидер славянофильства 60-х—80-х годов; с 1866 г. зять Тютчева.

⁴ Катков, Михаил Никифорович (1818—1887) — известный реакционный публицист, редактор газеты «Московские Ведомости» и журнала «Русский Вестник». В числе его «присных» Тютчев очевидно прежде всего разумел ближайшего сотрудника Каткова по общим изданиям Павла Михайловича Леонтьева (1822—1875).

Если в 1863 г. Тютчев высказывал свои симпатии к газете Каткова, а в 1866 г. защищал ее от преследований правительства (см. письмо 10), то впоследствии он откровенно выражал свое несочувствие реакционной «системе классического образования», введенной гр. Д. А. Толстым, главным вдохновителем которого был Катков. Отрицательно относился поэт и к основанному им лицей. «То, что ты говоришь мне относительно постановки дела в Катковском лицее, — пишет он дочери Анне 20 декабря 1870 г., — вовсе меня не удивило. Это повторение того, что доходило до меня с разных сторон. Зная обоих лиц, возглавляющих это заведение (т. е. Каткова и Леонтьева. — К. П.), можно было а priori ожидать всяческих чрезмерностей, в особенности же в так называемой классической системе, которая всегда казалась мне самым жалким из недоразумений, одним из тех устаревших предрассудков, которые обличают в тех, кто еще его принимает, лишь расположение к мономании. А это-то расположение достаточно уже выказало себя в лицах, о которых идет речь, даже в сфере их публицистической деятельности» (перевод с французского. — Мурановский архив). В другом письме он возвращается к той же теме: «Я никогда не чувствовал определенного предпочтения к Катковскому лицей, я судил о нем лишь по его репутации, очень двусмысленной за последнее время; а что касается лиц, которые им уп-

равляют, то я весьма склонен поверить а priori, что они вносят в это дело тот же дух исключительности и те же чрезмерности, как и во все, что от них исходит» (письмо к А. Ф. Аксаковой от 25 декабря 1870 г. Перевод с французского. — Мурановский архив).

⁵ Тютчев, Николай Иванович (1800—1870); в молодости был на военной службе, вышел в отставку в чине полковника генерального штаба и умер в Москве «старинным, верным членом» «Английского клуба». Тютчев написал на его смерть стихотворение «Брат, столько лет сопутствовавший мне...».

⁶ Сушкова, Дарья Ивановна (1806—1879), рожд. Тютчева, жена литератора Н. В. Сушкова.

⁷ Тютчева, Екатерина Львовна (1776—1866), рожд. Толстая.

5

А. М. ГОРЧАКОВУ

Москва, четверг, 11 июля [1863].

Князь,

с легким и радостным сердцем пишу я вам наспех эти несколько строк, дабы выразить вам мои живейшие поздравления... Ваши депеши пришли сюда вчера. И я почитаю себя счастливым, что находился в Москве в такой момент... Это был, помимо всяких фраз, момент исторический.

После всех этих оскорблений, всех этих официальных дерзостей за границы, после всех этих сомнений и тревог в отношении наших внутренних дел, вдруг ощутилось как бы чувство облегчения. Вдохнулось свободно.

Ничто не прошло здесь незамеченным в этих удачливых депешах. Ни один оттенок, ни одно намерение, ни одно изменение голоса не ускользнуло от оценки публики — или, вернее, страны. Всякий чувствовал себя счастливым и гордым, услышав себя говорящим так, ибо каждый находил присущий ему оттенок в том голосе, который говорил за всех.

Вы знаете, князь, что газета Каткова первая обнародовала ваши депеши в подлиннике и в переводе. Вчера, не знаю почему, «Московские Ведомости» вышли довольно поздно, не ранее 5 часов вечера. И вот уже в 7 часов на Тверском бульваре, где я обитаю, виднелись группы, с оживлением обсуждавшие ваши депеши. Ко мне лично подошел незнакомец, спросивший меня, читал ли я их, и на мой утвердительный ответ этот человек сказал: дай бог здоровья князю Горчакову — не выдал.

Вечером я был в клубе и сам Английский клуб, князь, был единодушен в той дани уважения, которую он вам воздавал. Чуть было не послали вам благодарственную телеграфическую депешу, но побоялись, что при настоящих обстоятельствах подобная демонстрация не выразит всей значительности руководивших ею чувств... Одним словом, князь, впечатление, произведенное на моих глазах здесь, в Москве, вашими словами, — тем полным достоинства и твердости тоном, которым по вашему благородному почину заговорила Россия, — впечатление это есть достояние истории. И еще раз я почитаю себя счастливым что был тому свидетелем. А будучи счастливым, я хочу быть и нескромным. Умоляю вас, дайте мне весть о себе через кого либо из ваших приближенных. Вот мой адрес: близ Тверской, Гнезненский переулок, дом бар. Корф.

Ф. Тютчев

Это письмо связано с решающим моментом в известной «дипломатической кампании» 1863 г. — с появлением ответов Горчакова на ноты иностранных держав. Оно написано на другой день после обнародования горчаковских депеш в «Московских Ведомостях» Каткова. В тот же день Тютчев сообщал жене: «Сегодня утром я написал Горчакову, чтобы его поздравить и на сей раз имел удовлетворение говорить ему только правду, что весьма приятно» («Старина и Новизна», кн. 21, стр. 205). О «дипломатической кампании» см. в тексте статьи.

А. М. ГОРЧАКОВУ

Москва, вторник, 28 июля [1863].

Князь,

я получил ваше милое письмо в ту самую минуту, когда я шел обедать к Каткову. Предоставляю вам судить о том глубоком удовлетворении, которое я испытал при чтении ему этого письма, и о том, не менее живейшем удовлетворении, с коим это чтение было встречено¹. Этот прекрасный человек был до глубины души растроган добрыми и любезными словами, обращенными к нему, теми словами, тайна коих принадлежит вам.

Ваша последняя депеша Будбергу² появилась здесь как раз во время, чтобы в конце рассеять те смутные опасения, которые иностранная печать хотела бы распространить насчет мнимых проявлений слабости и возможных уступок с нашей стороны.

В этой депеше почувствовали тот же тон и то же вдохновение, что и в предыдущих, и были признательны вам, князь, за то, что вы поспешили ее обнародовать. Это обнародование, конечно, не облегчит г. Друэн де-Люису³ составление его депеши. Одним словом, ваше положение здесь высоко и блестяще. Вы по праву заслужили это от господ бога. Чувствуется, что вы действуете согласно устремлениям страны, а вдохновляет и поддерживает вас вопреки всему и против всех глубокая уверенность в том, что в настоящих условиях страна готова пожертвовать всем, всем без исключения, кроме чести. Я знаю, что это говорилось и повторялось двадцать раз. Но на сей раз эти слова подтверждаются действительностью — и это вполне определяет положение.

А поэтому, хотя никто и не обманывается насчет важности вопросов внешней политики, но благодаря вам, князь, не они теперь занимают умы. Не тем поглощено всеобщее внимание, а тем, что творится в Варшаве⁴.

Я не смогу передать вам чувство отвращения, все более и более ожесточенного, которое вызывается здесь зрелищем происходящего там, и это ощущение постоянно поддерживается весьма точными сообщениями... Отставка маркиза⁵ была встречена здесь с удовольствием, так как полагали, что за ней последует другая, ожидаемая с еще большим нетерпением. Ибо — справедливо ли, нет ли — здесь уверены, что пребывание великого князя⁶ в Варшаве послужит препятствием к проявлению всякой серьезной и действенной власти. Его личность слишком отождествляют с применявшейся до сих пор нелепой системой, плоды коей мы пожинаем, чтобы можно было надеяться на то, что — не поставив себя в еще более неловкое положение — он в состоянии приобщиться к совершенно противоположной системе, неограниченному единству власти, одним словом — к военной диктатуре. А здесь не слишком уверены в том, что великий князь обладает способностями диктатора. И вот, князь, этого исхода, столь желанного, столь очевидно необходимого — скорейшего прекращения порядка, являющегося позором и опасностью, — этой выдающейся услуги отчизна ожидает опять-таки от вас, от вашего законного влияния⁷. Пора, давно пора!

Но я не хочу злоупотреблять вашим временем и мне остается ровно столько места, чтобы из глубины сердца повторить вам, князь, мою благодарность и выражения моей нежнейшей преданности.

Ф. Тютчев

¹ Письмо это является ответом на недошедшее до нас письмо Горчакова к Тютчеву. 22 июля 1863 г. последний писал жене: «Я, кажется, говорил тебе, что написал Горчакову, чтобы дать ему отчет в том, как Москва приняла его депеши. Он поручил Жомини (старший советник министерства иностранных дел. — К. П.) ответить мне письмом, которое теперь ходит по городу. Оно не содержит никаких новых фактов, но как исповедание политических убеждений, не оставляло бы желать ничего лучшего, ежели бы была уверенность в том, что им останутся верны. Но, к несчастью, на это как раз можно менее всего рассчитывать» («Старина и Новизна», кн. 21, стр. 206). Далее следуют подробности о запрещении банкета. См. об этом в тексте статьи.



Ф. И. ТЮТЧЕВ
Фотография 1860-х гг.
Музей им. Тютчева, Мураново

² Будберг, бар. Андрей Федорович (1817—1881), дипломат, русский посол в Париже с 1862 по 1868 г. Делегация Горчакова к Будбергу, о которой упоминает Тютчев, напечатана в «Московских Ведомостях» от 27 июля 1863 г.

³ Друэн де-Люис, Эдуард (1805—1881), французский государственный деятель, неоднократно занимавший пост министра иностранных дел (последний раз с 1862 по 1866 г.).

⁴ Имеется в виду польское восстание.

⁵ Велёпольский, маркиз Александр (1803—1877), польский политический деятель, пытавшийся добиться автономии Царства Польского путем соглашения с Россией; с 1862 г. начальник гражданской части и вице-председатель Государственного совета Царства. В связи с усилением правительственных репрессий, в июне 1863 г. получил заграничный отпуск, а в октябре того же года окончательно отставлен от занимаемых им должностей. Отставка Велёпольского была сочувственно встречена приверженцами «антипольского» направления русской политики.

⁶ Константин Николаевич, великий князь (1827—1892), наместник Царства Польского с 1862 по 1863 г., председатель Государственного совета с 1865 по 1881 г. В консервативных кругах русского общества славился за «либерала», — в глазах либералов представлялся «просвещенным деспотом» (см. его характеристику, сделанную П. В. Долгоруковым — «Петербургские очерки. Pamphlets эмигранта», М. 1934, стр. 317—324). Вызвал резкую оппозицию своей «примирительной» политикой в Царстве Польском. Решительным ее противником в печати выступил М. Н. Катков.

⁷ Интересно отметить, что та «система», против которой ополчается Тютчев, ища поддержки со стороны Горчакова, на самом деле была тесным образом связана с тем направлением, которое Горчаков пытался дать русской внешней политике. «Либеральная» политика по отношению к полякам рассматривалась Горчаковым как средство укрепления франко-русского сближения. Прочная экономическая связь России с Германией сорвала эти планы и польское восстание 1863 г. послужило как раз побудительным толчком к русско-прусской дружбе (подробнее об этом см. в тексте статьи).

7

А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Санктпетербург, среда, 4 сентября 1863.

Моя милая дочь, я получил недавно твое письмо без даты, я разумею — без официальной даты, но достаточно ярко отмеченное той лучезарной средой, в которой ты обитаешь, всеми лучами солнца и всеми дуновениями моря... Ах, да, власть среды над человеком неизмерима! И самые гигантские усилия у себя дома, на месте, не, в состоянии приподнять то, что улечивается и рассеивается при малейшем дыхании ветра под новыми небесами, в особенности если это дыхание теплое, а небо яркое. У нас здесь также было несколько хороших дней, хороших — по здешнему, и даже в настоящую минуту я только что вернулся с островов прекрасным утром, правда немного свежим, но озаренным довольно ярким солнцем, приходящимся как бы дальней родней тому, что сияет там, над вашими головами.

Переходя к мыслям и впечатлениям иного порядка, скажу, что мы начинаем довольно приятно пользоваться досугами, по крайней мере временными, которые прошедшие события повидимому желают нам предоставить. Есть нечто особенно приятное в ослаблении напряженного состояния. Это не значит, что мы покоимся на ложе из розовых лепестков и единственное, что нам остается, — это предаться дремоте, но кризис миновал и мы не можем отказать себе в сознании, что превосходное поведение страны сильнейшим образом содействовало разрешению кризиса согласно интересам истины и справедливости, которые на нашей стороне. Время лжи кажется прошло, и та фальшивая действительность, которую она создала против нас и в которую она хотела нас затянуть, чтобы удушить, разлетается на наших глазах в куски и клочья. Теперь, если не ошибаюсь, начнется реакция и все эти противоположные друг другу интересы, все эти злые инстинкты эгоизма, которых пытались собрать под единое знамя против нас, не замедлят, надеюсь, обратиться друг против друга и завести между собою решительную потасовку. В этом и будет заключаться мораль разыгрываемой перед нашими глазами пьесы или, как выражались древние, в этом будет оправдание, которое готовят себе боги за столько допущенных ими беззаконий. Гер-

манский вопрос, так бесчестно поднятый Австрией¹, — уже довольно недурное начало и может завести далеко. С точки зрения наших собственных интересов вопрос этот имеет, на мой взгляд, большое преимущество в том, что он настолько же захватывающ, насколько и неразрешим, — захватывающ, разумеется, по отношению к Западу, так как вызовет и выдвинет все его разногласия, все его самые ненавистнические соперничества, что позволит нам наконец вернуться к нашей настоящей роли и утвердиться крепко и надолго в ней и в наших действительных исторических условиях, которые заключаются в безусловном нейтралитете, но нейтралитете недоброжелательном по отношению к Западу. — В данный момент наше любопытство всецело обращено на Финляндию и на то, что там произойдет². Вчера я получил письмо от Каткова, очень озабоченного опасением, как бы не сделали оплошности, заставив государя произнести его речь на открытии сейма по-французски, и т. д. и т. д. Но я замечая, милая моя дочь, что вместо письма, которое я собирался тебе написать, я обращаюсь к тебе с плохой газетной статьей. До другого раза...

¹ В августе 1863 г. по инициативе Австрии во Франкфурте был созван конгресс немецких государей, «княжеский сейм», под личным председательством австрийского императора Франца-Иосифа. Проект преобразования Германского союза, предложенный Австрией, был сорван отказом Пруссии участвовать в конгрессе. Бисмарк не мог допустить мысли о «преобладающей роли Австрии в реформированном союзе» (см. его «Мысли и воспоминания» — стр. 193 русского перевода в приложении к журналу «Русская старина» на 1899 г.).

² 6 сентября 1863 г. в Гельсингфорсе состоялось открытие финляндского сейма. Тронная речь Александра II была произнесена на русском языке.

8

А. М. ГОРЧАКОВУ

[19 декабря 1863 г.]. Понедельник.

Я был очень раздосадован, князь, невозможностью явиться на ваш зов. Я с нетерпением ждал случая принести вам свои поздравления, весьма законные. Ваш намеренный успех был полон, и я радуюсь ему гораздо меньше за вас, нежели за всех нас.

Это очевидный признак зрелости...

Положительно счастливо, что на нашем русском языке имеется лишь одно и то же слово для выражения двух понятий: *populaire* и *national*. Это — а р о д н ы й. И как раз им-то и приветствовал вас с таким полным правом один из посланных вам адресов.

Не скрою от вас, князь, что для всех было бы большим разочарованием, если бы слова, произнесенные вами в клубе, равно как и все подробности оказанного вам приема, не были преданы гласности. Не достаточно иметь мужество высказать свое мнение. Не следует также бояться своих успехов, когда эти успехи столь очевидно принадлежат всей стране².

Тысяча сердечных приветствий.

Ф. Тютчев

¹ В подлиннике дата проставлена не рукою Тютчева.

² В этом письме идет речь об обеде, данном 4 декабря 1863 г. петербургским Английским клубом по случаю избрания кн. А. М. Горчакова почетным его членом. Обед этот имел целью лишний раз засвидетельствовать сочувствие «высших кругов» петербургского общества к дипломатической кампании Горчакова в связи с польским восстанием. Подробности приема, оказанного Горчакову, скоро сделались достоянием печати. Так в «Московских Ведомостях» от 15 декабря (№ 273) появилась статья «Обед в Петербургском Английском Клубе в честь князя А. М. Горчакова»; статья эта была основана на сообщении, напечатанном уже в «Русском Инвалиде» от 11 декабря. Слова, сказанные Горчаковым в клубе, которые по мнению Тютчева заслуживали полной гласности, были ответом на спич, произнесенный старшиной Н. М. Толстым. Горчаков заявил, что сочувствие, проявленное к его деятельности членами клуба, имеет «более обширное значение». Самому Горчакову, по его словам,

выпала «завидная доля» послужить «точным и добросовестным исполнителем царской воли». Этим он и объясняет себе тот «сознательный восторг», с которым «вся Россия... подкрепила своим голосом» его ответы на ноты иностранных держав, ответы «имевшие целью опровергнуть неправильные притязания и оградить наше достоинство...»

Каковы были действительные причины «сочувствия», проявленного известной частью русского общества к политике Горчакова, см. во вступительном очерке.

9

А. М. ГОРЧАКОВУ

Суббота, 11 апреля [1865].

Вот, князь, стихи, которые вы имели любезность просить у меня. Они незначительны и были написаны лишь из чувства долга...¹

Что же касается немецкого вопроса, поднятого по поводу других стихов², лучших чем мои, вот что можно о нем сказать. Ломоносов сам имел своих Нессельроде и своих Будбергов³ и все выдающееся в России, во все времена, имело своих, то-есть людей, ниже их по дарованию, которые пытались первенствовать над ними и притеснять их, в чем нередко и успевали, опираясь лишь на одни предпочтения, часто малообоснованные, на пристрастие так сказать инстинктивное, которое они встречали со стороны самой верховной власти. И вот это-то упорное соучастие верховной власти с чужеземным началом и способствовало более всего развитию в русской природе, наименее злопамятной из всех, чувства злопамятности по отношению к немцам, в то время как немцы, от мала до велика, наши и не наши, у которых нет конечно никакого повода питать чувство злопамятности к России, имеют к нам лишь физиологическое, а потому именно неискоренимое чувство неприязни, расовой неприязни. Едва ли это не наиболее разительная черта их национальности.

Но поразительно у нас то, что в течение долгого и не бесславного-таки царствования императрицы Екатерины чувство недоброжелательства к немцам казалось как бы усыпленным. Я нашел намеренно объяснение этому в словах ее, приведенных в одном журнале. Говоря об одном немце, находившемся на русской службе, она перечисляла его высокие и прекрасные качества и прибавила в заключение, что она однако не решилась бы назначить его на какой-либо ответственный пост, потому что у него, как и у всех немцев, есть один в моих глазах огромный недостаток. — Это ее собственные слова. — Они не довольно уважают Россию...

Тысяча сердечных приветствий.

Ф. Тютчев

¹ При этом письме было послано стихотворение «Он, умирая, сомневался...», написанное по случаю исполнившейся 4 апреля 1865 г. столетней годовщины со дня смерти М. В. Ломоносова. Автограф стихотворения сохранился в Горчаковском архиве. Текст его опубликован Г. И. Чулковым в примечаниях к новому «Полному собранию стихотворений Тютчева» (М.-Л., изд. «Academia», т. II, 1934, стр. 402—403).

Впервые стихотворение было напечатано Д. Д. Благим в ежемесячнике «Ипокрена» (1917, октябрь) в иной редакции (по автографу, хранящемуся в Рукописном отделении Государственной Публичной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде). Третий автограф того же стихотворения, отличающийся от двух предыдущих, но повидимому самый ранний, находится в ИРЛИ (см. «Полное собрание стихотворений», т. II, стр. 154).

² Стихи, возбудившие вопрос о немцах и их роли в русской истории послепетровского периода, принадлежат Аполлону Майкову. В своей первоначальной редакции стихотворение это, озаглавленное «Ломоносов» («В печали невольная столица...»), создано в 1865 г. в связи с ломоносовскими торжествами. В этих националистических стихах нашла свое отражение свойственная русской крупной буржуазии и части помещиков неприязнь к Германии как к растущему конкуренту России в экономической и внешнеполитической областях. Для Майкова Ломоносов явился «желанным посланцем с небес» и живым воплощением «русского духа» (См. «Полное собрание соч. А. Н. Майкова», изд. 4-е, СПб, 1884, т. III, стр. 88).

14 марта 1865 г. А. В. Никитенко занес в свой дневник: «Был у меня А. Н. Майков и читал мне свои стихи, написанные для прочтения на обеде в честь Ломоносова. Стихи хороши, только сильно направлены против немцев. Тут видно влияние Л.

Я заметил Майкову: «Вы бросаете перчатку немцам». Без скандала, т. е. без демонстрации против немцев, Ломоносовский праздник, кажется, не обойдется» («Записки и дневник», т. II, СПб., 1905, стр. 225). Накануне он записал в своем дневнике следующее: «Большая суматоха по случаю приготовления к празднованию столетия после смерти Ломоносова. В Академии сегодня опять собиралась комиссия и рассуждала о выбитии в честь его медали. Академия, хотя неохотно, но решилась выбить ее о себя. В городе готовятся тоже овадии, в чем деятельно участвует Л. Ему, главное, хочется этим насолить немцам, которых он смертельно ненавидит, и я начинаю бояться, что из овадии Ломоносову выйдет демонстрация против немцев. На днях был у меня Л. и много толковал о Ломоносове, о славянах и немцах...» (там же, стр. 224).

Упоминаемый в дневнике Никитенко Л. — Владимир Иванович Ламанский, автор брошюры «Столетия память Михаилу Васильевичу Ломоносову 4 апреля 1865» (П., 1865). В этой брошюре Ламанский нападал на «исключительно немецкий характер петербургской академии».

Уместно напомнить, что на это засилье немцев в Академии наук ополчился однажды и Тютчев в своих известных стихах на забаллотирование А. Ф. Гильфердинга («Спешу поздравить. Мы охотно...» 1869 г.).

³ Нессельроде и Будберг, имена коих Тютчев употребляет в нарицательном смысле, это предшественник Горчакова на посту министра иностранных дел гр. Карл Васильевич Нессельроде (1780—1862), и вероятно русский дипломат Андрей Федорович Будберг (см. примечания к письму 6).

10

А. М. ГОРЧАКОВУ

Воскресенье [24 апреля 1866 ¹].

Князь, я вам докучаю, но все равно... Прочтите, бога ради, в сегодняшнем Голосе большую статью о деле Каткова и вы тотчас постигнете опасность, действительную опасность положение... ²

Итак, вот уже во второй раз плохая газета приходит якобы на помощь правительству, чтобы легче сбить его с дороги, и, задев за живое, заставить его до конца пройти тот путь, на который оно вступило... С таким помощником есть над чем призадуматься министру внутренних дел ³. Но нет — он примет этого союзника так же, как принял первого, Современник ⁴, и, делая промах за промахом, мы дойдем до самых плачевных результатов. Страна окажется зрителем самого нелепого противоречия, а именно: в то самое время, когда одной рукой правительство пытается обуздать и подавить то, что называется нигилизмом, другой рукой оно сокрушит в печати единственный оплот консервативного и национального мнения, которому удалось образоваться из которого, поверьте, нигилисты страшатся гораздо больше, нежели правительственных мер, таких, какими они проявлялись до сих пор. Вы один, князь, способны избавить императорское правительство от такого скандала.

Тысяча приветствий.

Тютчев

¹ В подлиннике дата поставлена не рукою Тютчева.

² В газете «Голос» от 24 апреля (6 мая) 1866 г. (№ 112) появилась статья «По поводу выходки «Московских Ведомостей» относительно «предостережения». 26 марта этого года в «Северной Пчеле» было напечатано распоряжение министра внутренних дел о первом предостережении «Московским Ведомостям». Предостережение делалось на том основании, что в конце передовой статьи № 61 этой газеты «правительственным лицам приписываются стремления, свойственные врагам России, и мысль о государственном единстве империи выставляется как бы мыслью новою, будто бы встречающеюся в среде самого правительства, предосудительное противодействие».

По тогдашним законам о печати повременное издание, получившее предостережение, обязано было напечатать его «в главе первого имеющего после того выйти в свет номера без всяких изменений или возражений». Газета, не напечатавшая предостережение, подвергалась в течение трех месяцев штрафу в размере 25 рублей серебром за каждый номер, а по истечении этого срока выпуск ее прекращался. Редакторы «Московских Ведомостей» «не приняли» сделанного им предостережения и, отказавшись напечатать его на столбах своей газеты, решили платить в течение положенного времени штраф, а затем прекратить издание.

Вслед за заявлением «Московских Ведомостей» в «Голосе» появились две статьи по поводу этой «выходки»: первая — в № 93 от 5 (17) апреля, вторая — в № 112,

та самая статья, которая вызвала встревоженное письмо Тютчева к Горчакову. Умеренно либеральный «Голос» считал себя «постоянным противником» «Московских Ведомостей».

Катков однако не думал уступать, найдя твердую поддержку со стороны некоторых правительственных деятелей, в частности недавнего усмирителя польского «мятежа» М. Н. Муравьева, только что назначенного председателем особой Следственной Комиссии по делу о покушении Караказова.

И хотя крылья «виленского архангела Михаила» и красноречивое представительство Тютчева перед очень расположенным к Каткову за личные прежние услуги Горчаковым не могли оградить «Московских Ведомостей» от временной кары, более чем вероятно, что именно сочувствие к Каткову двух столь влиятельных лиц, как Горчаков и Муравьев, послужило причиной их досрочного возрождения. 6 мая «Московским Ведомостям» объявлено было второе предостережение, 7 мая — третье, с приостановлением газеты на три месяца, а уже 25 июня Катков, по личному желанию Александра II, возобновил свою издательскую деятельность.

Следует отметить, что вступаясь за «Московские Ведомости», Тютчев в то же время находил нетактичным их упорное «сопротивление министерству», как выразился Никитенко. Тот же автор занес в свой дневник 5 апреля: «Был у Тютчева... Разговор, само собою разумеется, все о покушении. Потом перешли к «Московским Ведомостям», которым готовится второе предостережение. Даже Тютчев, который до сих пор всегда держал их сторону, теперь недоволен ими» («Записки и дневник», т. II, стр. 283). Действительно, еще 3 апреля Тютчев телеграфировал члену редакции «Московских Ведомостей» А. И. Георгиевскому: «Убедительно просим вас немедленно выполнить требуемое законом» (Георгий Чулков, «Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева», М.-Л., изд. «Academia», 1933, стр. 176).

³ С 1861 по 1868 г. министром внутренних дел был Петр Александрович Валуев (1815—1890).

⁴ Тютчев очевидно намекает на следующее обстоятельство.

Весной 1865 г. русским повременным изданиям было предоставлено право выходить без предварительной цензуры, но взамен этого вводилась система «предостережений».

В конце ноября того же года И. С. Аксаков был поставлен в крайне щекотливое положение: до него дошли слухи, что журналу «Современник» готовится предостережение за напечатанную в октябрьской книжке статью М. А. Антоновича «Суетумудрие Дня», направленную против аксаковской газеты «День». В передовой статье, помещенной в своем еженедельнике 4 декабря 1865 г., Аксаков писал: «Давно уже ничему мы так серьезно не радовались, как появлению в печати... статьи г. Антоновича... Слава богу, подумали мы... наконец-то настало у нас в России время, когда можно безбоязненно быть искренним в выражении своего мнения, можно не лгать и не лицемерить... Мы... радуемся, что наступает наконец пора, когда можно будет нам бороться с нашими противниками открыто, явно, без намеков, двусмыслий, иносказаний, одинаковым, равным оружием мысли и слова...». Между тем Аксаков уже знал, что у одного из противников это оружие будет отнято, и — весьма озадаченный этой «непрошенной помощью грубой внешней силы» — счел уместным напомнить: «Едва ли кто, при защите своих убеждений, терпел более от цензурной строгости, чем писатели славянофильского направления». Этим он как бы отстранял от себя оказанную ему «медвежью услугу» и заблаговременно заявлял о своей дальнейшей тактике. Он воспользовался при этом прозрачной формой «предположения»: «...если бы, — да простит нам правительство такое дерзкое предположение, — сей самый «Современник» был затруднен в откровенном выражении своих мнений, то... мнения, противоположные «Современнику», нашли бы нелегким для себя нападать на сей, удостоенный преследования журнал» (см. «Сочинения И. С. Аксакова», т. VII, М., 1887, стр. 506—515).

4 декабря 1865 г. появились в печати эти строки Аксакова, а на следующий день в «Северной Почте» было объявлено предостережение «Современнику». Полемика, едва было открывшаяся, пресеклась в самом начале.

Нечего и говорить вам, князь, как я был раздосадован непрошенной честью, лишающей меня возможности последовать вашему приглашению¹... Сובлаговолите, умоляю вас, сообщить это признание по принадлежности²... Я могу, не правда ли, рассчитывать на вознаграждение в ближайшем будущем, но не завтра однако, так как этим днем я не могу уже располагать.

Позвольте ли вы мне, князь, выразить вам одно пожелание? Чем более я думаю о том замечательном документе, который вы изволили прочесть мне сегодня утром,

тем более убеждаюсь я в том, как полезен и важен он был бы для нас, если бы был обнародован... Не следует заблуждаться. Это документ гораздо большего значения, нежели простой дипломатический акт. Он касается — и замечательным образом — самой сути нашего положения по отношению к Европе... В одно и то же время он доставил бы большое удовлетворение национальному чувству и непременно бы сплотил вокруг нас все, что есть наиболее просвещенного и наиболее разумно либерального в направлении умов за границей, против нашего истинного личного врага, каким является Римская курия теперь, как и всегда...³

А затем — к чему таиться? — обнародование это только прибавило бы весу вашему личному влиянию, которое является по отношению к загранице нашей силой, наиболее надежной и наиболее действительной в данную минуту.

Бога ради, князь, подумайте об этом.

Тысяча почтительных приветствий.

Ф. Тютчев

¹ Очевидно «непрощенной честью», оказанной Тютчеву, было приглашение ко двору или может быть к великой княгине Елене Павловне, у которой часто бывал поэт.

² Тютчев несомненно имеет в виду Н. С. Акинфова. О ней см. в примечаниях к письму 14.

³ Очень вероятно, что Тютчев говорит здесь о «приложении» к циркулярной депеше Горчакова русским дипломатическим представителям за границей. «Приложение» это заключало в себе «краткое историческое изложение поступков Римской курии, приведших к разрыву сношений между папским престолом и императорским кабинетом и к отмене конкордата 1847 г.». О причинах, послуживших поводом к прекращению дипломатических сношений с папой, см. примечания к следующему письму.

Так как циркуляр Горчакова и «приложение» к нему появились в печати в начале января 1867 г., можно думать, что письмо Тютчева, если в нем действительно идет речь об этом самом документе, относится к концу 1866 г. или к началу января 1867 г. Датируем его предположительно.

12

А. М. ГОРЧАКОВУ

Вторник, 10 января [1867 г.] .

Князь,

переписка, обнародованная сегодня — достойное завершение вашей славной кампании 1863 года...² Я, как и все, испытываю потребность принести вам свои поздравления. Документ этот встретит громкий отклик в России... При чтении его передо мной как бы более ясно предстало все значение вашей действительной исторической миссии. Вы очевидно были призваны внести новое начало в дела мира, новую и весьма значительную силу, духовную силу России.

Вам будет принадлежать честь ее образования и обращения в политическую силу, а это — огромное событие.

Говоря исторически, вы оправдали и реабилитировали этого русского бога в его минутной слабости... И благодаря этой новой силе, введенной вами, польский вопрос вступил в свою окончательную фазу, в которую вступит и восточный вопрос...

Один древний грек, Эпаминонд³, говорил, умирая, что он завещает Греции своих двух дочерей, победы при Левктрах и Мантинее. Вы, князь, имели уже свою битву при Левктрах, и я лгу себя надеждой, что вы на многие годы переживете свою победу при Мантинее. Это мое самое душевное желание.

Ф. Тютчев

¹ Год устанавливается легко: 1) 10 января приходилось на вторник в 1867 г., 2) 10 января 1867 г. был напечатан циркуляр Горчакова по поводу незадолго до того совершившегося разрыва дипломатических отношений с папским престолом.

² «Переписка, обнародованная сегодня» — циркулярная депеша вице-канцлера русским посольствам и миссиям от 7 января 1867 г. с особым «приложением» к ней. Тютчев прочел ее в «Journal de St.-Petersbourg». Обнародование переписки явилось завершением дипломатических препирательств с папой, начавшихся в 1863 г. в связи с событиями в Польше и закончившихся расторжением конкордата, заключенного в 1847 г.

Тютчев приветствовал разрыв с Римом. Поэтому, когда осенью 1868 г. из одной беседы с Горчаковым он вынес впечатление о «вновь возникающем пополазновении к сближению с Римским двором», тревоге его не было предела. «Странно, невероятно, немислимо, но оно так!» восклицает поэт в письме к Аксакову (от 29 сентября 1868 г.) и предлагает печати, «хотя бы... редакции Москвы, серьезно и вполне чистосердечно заняться разрешением психологической задачи: отчего в наших правительственных людях, даже лучших из них, такая шаткость, такая податливость, такая неимоверная, страшная несостоятельность?» Причина этого, по мнению Тютчева, кроется в том, что все они «очень плохо учили историю и потому нет ни одного вопроса, который бы они постигали в его историческом значении, с его исторически-непреложным характером». Ни «сделки», ни «мир», ни даже «перемирие» с папством невозможны: «Папа — и в этом заключается его *raison d'être* — в отношении к России всегда будет поляком, в отношении к православным христианам на востоке — всегда будет туркою» (Мурановский архив).

³ Эпаминонд — знаменитый финанский полководец IV в. до н. э., одержавший в 371 и 362 гг. победы над спартамцами при Левктрах и Мантинее; в последней битве сам Эпаминонд был смертельно ранен.

13

И. С. АКСАКОВУ

Петербург, вторник, 18 апреля 1867.

Прежде всего, друг мой Иван Сергеевич, дайте обнять себя и от души поздравить и вас и жену вашу с великим праздником и наступающим днем рождения Анны¹. Я в долгу у вас за два письма. Первое из этих писем было, можно сказать, последнею посмертною передовою статьею Москвы². Такую оно получило здесь гласность и известность. Я читал его встречному и поперечному, т. е. заставлял читать, сообщил кня. Горчакову, и теперь наконец письмо это успокоилось в собрании автографов графа Сергея Апраксина³, большого вашего почитателя, который выпросил его у меня.

Сочувствие к Москве несомненное и общее. Все говорят с любовью и беспокойством: не умерла, а спит, и все ждут нетерпеливо ее пробуждения. Но вот в чем горе: пробудится она при тех же жизненных условиях и в той же органической среде, как и прежде, а в такой среде и при таких условиях газета, как ваша Москва, жить нормальной жизнью не может, не столько вследствие ее направления, хотя чрезвычайно ненавистного для многих влиятельных, сколько за ее неумолимую честность слова. Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по делу печати, а не тот лицемерно-насилованный произвол, который теперь заведывает у нас этим делом, — и потому неизменно-нейшей Москве долго еще суждено будет, вместо спокойного плаванья, биться, как рыба об лед.

Поездка государя в Париж пока дело решенное⁴. 13 будущего мая он отправится туда через Берлин и в сопровождении прусского короля⁵, пробудет в Париже неделю, потом через Штутгарт, Карлсруэ проедет в Варшаву и Ригу... Едет с ним гр. Петр Шувалов⁶. В Париж, как говорят, будет призван из Константинополя Игнатьев⁷. Поедет ли [он] в Париж, это еще под спудом [sic!], а между тем от этого обстоятельства и зависит, по-моему, все значение этого дела. — Личная ли это интрига, которой благодушный монарх служит бессознательным орудием, или обдуманная, сознательная тактическая программа. — Вот по крайней мере какими нелепыми соображениями объясняют и оправдывают эту программу ее защитники.

Они говорят, что только подобным заявлением, каково будет личное присутствие обоих государей, можно надеяться при данных обстоятельствах настолько ослабить давление в смысле воинственного исхода, чтобы упрочить мир, по крайней мере на несколько времени, так как мы предвидим, что при состоявшейся войне мы непременно будем вовлечены в оную... К тому же вероятно мы надеемся, что, приобщив Наполеона к нашему союзу с Пруссией, нам удастся отвлечь его от Англии и через это найти возможным столкнуться с ним, касательно, если не решения, то по крайней мере улажения восточного вопроса... Все это, как вы видите, есть ничто иное, как мудрость юродствующих и прозорливость слепотствующих. Все это сверх того обли-

чает, не говорю — непонимание, а совершенно превратное понимание судеб России и исторических законов ее развития... Грубейшее напр[имер] непонимание этой простой фактической истины — то, что если бы нам и удалось в самом деле умиротворить Запад, то этот умиротворенный Запад, неминуемо и совершенно логично, опрокинется на нас же всем грузом европейской коалиции. Эта-то полнейшая бессознательность своих жизненных условий, это-то совершенное извращение прирожденных инстинктов в нашей правительственной сфере, вот в чем если не гибель наша, то наш страшный камень преткновения. Но история все-таки возьмет свое, устранил и этот камень. Война состоится, она неизбежна, она вызывается всею предыдущею историею западного развития. Франция не уступит без боя своего политического преобладания на Западе, — а признание ею объединенной Германии законно и неизбежно совершившимся фактом было бы с ее стороны равносильно отречению ее от всего своего европейского положения. Борьба следственно неизбежна. Это будет первая сознательная племенная война между составными частями Европы Карла Великого, т. е. первый шаг к ее разложению, и этим самым определится мировой поворот в судьбах Европы Восточной. Вот вопросы, которые неминуемо уяснятся до общего самосознания на предстоящей с х о д к В с е с л а в я н с к о й ⁸, хотя, конечно, приостановка Москвы в данную минуту отзвевается страшным диссонансом в нашем [sic!] оратории.

Простите, дорогой Иван Сергеевич, мне стыдно этого безпутно длинного письма

¹ Днем рождения А. Ф. Аксаковой было 21 апреля. Пасха в 1867 г. приходилась 16 апреля.

² «Москва» — ежедневная газета, издававшаяся И. С. Аксаковым с 1 января 1867 г. 30 марта того же года приостановлена на три месяца. Вот почему Тютчев называет полученное им частное письмо от Аксакова «посмертной передовкою статей «Москвы». С 30 июня газета была возобновлена. В начале декабря «Москва», получившая за это время три предостережения, снова была приостановлена на четыре месяца. Запрещена окончательно в октябре 1868 г.

³ А п р а к с и н, гр. Сергей Александрович (1830—1894) — флигель-адъютант, из вестный bibliофил.

⁴ Поводом к поездке Александра II в Париж послужило полученное им от Наполеона III приглашение посетить парижскую всемирную выставку. Поездка эта вызвала горячие протесты окружающих, в особенности Горчакова (ср. А. В. Никитенко, «Записки и дневник», т. II, стр. 332).

19 апреля 1867 г. (на другой день после печатаемого письма к Аксакову) Тютчев писал своей старшей дочери — жене Аксакова: «Вчера я описывал твоему мужу по ложению вещей таким, каким оно казалось окончательно решенным... Однако, ввечеря я видел князя Вяземского (Петра Андреевича. — К. П.), который сообщил мне, что узнал — но лишь в виде слуха, — будто весь вопрос возник снова из-за прусского короля, отказывающегося, как говорят, ехать в Париж, но и это не остановило бы нашего августейшего путешественника, лишь бы участвовал в путешествии прусский наследный принц. Он так настаивает на этом проекте, который здесь всем кажется безумным, что я начинаю думать, не кроется ли во всем этом какое-то божественно внушение, какое-то сверхъестественное откровение. Впрочем, кто знает. Во всяком случае он может только выиграть, выйдя из одуряющей среды, в которой прозябает и очутившись в соприкосновении и столкновении с волей других людей, а не со своей. Встреча с Бисмарком была бы ему особенно полезна...» (перевод с французского. — Мурановский архив).

Последние слова звучат неожиданно. Славянофил Тютчев мечтает о встрече русского императора со злейшим врагом славянства. Но в тот момент поэт видел в нем прежде всего «наиболее энергичного и наиболее убежденного представителя национальной идеи», т. е. того, чего по его мнению недоставало русским, стоящим у власти.

Александр II выехал из Царского Села 16 мая 1867 г. и 20 мая прибыл в Париж. В свите его находился и кн. А. М. Горчаков. Туда же приехал прусский король с сопровождением Бисмарка.

Спустя месяц после этого Тютчев писал: «Возвращение князя Горчакова и в то что я узнал от него, подтвердило мою предыдущую оценку положения. Парижский визит со всеми сопровождавшими его празднествами и происшествиями (25 мая поля Березовский стрелял в Александра II. — К. П.) остался в конце концов лишь исторической фантазмагорией, не имевшей никакого, ни самонаименованного влияния на современные события, но не лишенной тем не менее известного характера и известного значения. Но все это не возымеет никакого непосредственного влияния на подготавлившиеся события, несущие с собою всякого рода кризисы и бедствия, и которые когда-нибудь выкажут в столь странном свете все эти вавилонские празднества, им пред-

шествовавшие... Провидение, действуя как великий артист, готовит нам тут один из самых поразительных театральных эффектов... Под общество подведена мина, и вот за счет этой уже заряженной мины разыгрываются все эти подтасовки торжествующего в своей цивилизации и обнимающегося в мире и братстве человечества» (письмо к А. Ф. Аксаковой от 21 июня 1867 г. Перевод с французского. — Мурановский архив).

⁵ Вильгельм I (1798—1888)—король прусский с 1861 г., впоследствии (с 1871 г.) император германский, дядя Александра II.

⁶ Шувалов, гр. Петр Андреевич (1827—1889), государственный деятель, с 1866 по 1874 гг. главный начальник III Отделения и шеф жандармов. Назначение Шувалова на этот пост вызвало со стороны Тютчева следующую эпиграмму:

Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой
Петр по прозвищу четвертый,
Аракчеев же второй.

⁷ Игнатъев, гр. Николай Павлович (1832—1908)—дипломат, с 1864 по 1877 г. посол в Турции, в 1881—1882 г.—министр внутренних дел.

⁸ Намек на Славянский съезд в России в 1867 г. См. ниже письмо Тютчева к Самарину и примечания к нему.

14

А. М. ГОРЧАКОВУ

Пятница, 21 апреля 1867.

С величайшим удовольствием, князь, узнал я вчера, что мы счастливо избежали одного из исходов дилеммы, которую я выдвигал намерении, и что поездка в Париж может быть отнесена к разряду случайностей. Теперь есть даже основания рассчитывать на то, что благодаря вашему присутствию это сможет превратиться в счастливую случайность. Не могу выразить вам, князь, как болезненно занимала меня эта неизвестность при плачевном состоянии моих нервов...¹

Спасибо, князь, за вашу любезную память. Здоровье мое попрежнему никуда не годится и я не предвижу конца этому проклятому затворничеству...²

Передайте мои почтительные приветствия Надежде Сергеевне³. Блаженны здоровые, ибо они могут ее видеть!

Прочла ли она уже новый роман Тургенева? — Вот чтение, которое придется ей по вкусу и которое она сумеет оценить⁴.

Ф. Тютчев

¹ О поездке Александра II в Париж см. в примечаниях к предыдущему письму.

² С 8 апреля 1867 г. и в продолжение всего мая месяца Тютчев страдал подагрой.

³ Надежда Сергеевна Акинфова, рожд. Анненкова (1839—1891), внучатая племянница Горчакова. Разведясь с мужем, вышла замуж за герцога Николая Максимилиановича Лейхтенбергского и получила титул и фамилию графини Богарнэ. Ей посвящены стихотворения Тютчева «Как летней иногда порою...», «Как ни бесилося злоречье...» и «Велели вы, хоть может быть и в шутку...»

⁴ Новый роман Тургенева — «Дым», напечатанный в мартовской книжке «Русского Вестника» за 1867 г. «Книжка Русского Вестника с «Дымом» — уже несколько дней, как получена, — но «Дым» еще читается и мнения о нем не успело еще составиться. Вчера я был у Ф. И. Тютчева, — он только что прочел и очень недоволен. Признавая все мастерство, с каким нарисована главная фигура, — он горько жалуется на нравственное настроение, проникающее повесть, и на всякое отсутствие национального чувства», так писал Тургеневу Боткин 23 апреля (В. П. Боткин и И. С. Тургенев, «Неизданная переписка», М.-Л., изд. «Academia», 1930, стр. 264). Повидимому слова Тютчева по поводу «Дыма» в его письме к Горчакову касаются как раз внешнего «мастерства» повести. Помимо свидетельства Боткина мы имеем еще два определенных указания на отрицательное отношение Тютчева к «Дыму»: во-первых, это анонимный экспромт, появившийся в «Голосе» (№ 170 от 22 июня 1867 г.) и принадлежащий поэту, — эпиграмма, насквозь пропитанная горькой досадой на «нравственное настроение» тургеневской повести:

«И дым отечества нам сладок и приятен».

Так поэтически век прошлый говорит;

А в наш — и сам талант все в солнце ищет пятен

И смрадным дымом он отечество коптит! —

во-вторых, это большое его стихотворение «Здесь некогда могучий и прекрасный...», написанное 26 апреля 1867 г.

Ю. Ф. САМАРИНУ¹

Понедельник, 15 мая [1867].

Дорогой Юрий Федорович.

Полонский² недавно прочел мне стихотворение, написанное им для настоящего случая, и которое он хотел сообщить вам³. Я полагаю, что эти стихи могли бы вполне с честью появиться на одном из ваших собраний. — Кстати, о стихах: соблаговолите, пожалуйста, при чтении моих — если они будут прочитаны — восстановить зачеркнутую строфу, предпочтительно перед другой⁴. Простите мне эту мелочность стихотворца. — *Amor pugurum...*⁵

Я еще не осведомлен о том, что происходило вчера в Царском. Знаю только, что государь говорил с ними по-русски, а это — главное. Петербург хорошо справился со своим делом, теперь очередь за Москвой⁶.

Чем больше я думаю, тем более прихожу к убеждению, что, помимо вопросов о подробностях и их применении, существует одна точка зрения, одна Grundansicht⁷, которую надо особенно выдвинуть как в официальных речах, так и в частных беседах. И хотя, взятая отвлеченно, эта точка зрения кажется лишь общим местом, тем не менее, в ней заключается разрешение задачи. Все зависит от того, как славяне понимают и чувствуют свои отношения к России. В самом деле, если они — а к этому весьма склонны некоторые из них, — если они видят в России лишь силу — дружескую, союзную, вспомогательную, но, так сказать, внешнюю, то ничего не сделано и мы далеки от цели. А цель эта будет достигнута лишь тогда, когда они искренно поймут, что составляют одно с Россией, когда почувствуют, что связаны с нею той зависимостью, той органической общностью, которые соединяют между собой все составные части единого целого, действительно живого. Увы, через сколько бедствий вероятно придется им пройти прежде, чем они примут эту точку зрения, целиком и со всеми ее последствиями. Однако, и в настоящее время ясное и точное провозглашение этой истины в виде философской формулы было бы, по-моему, весьма кстати; и, конечно, никто, кроме вас, милый друг не в состоянии сообщить этому провозглашению большей полноты, значения и — авторитетности.

Я вполне сознаю, что для того, чтобы наша проповедь оказалась последовательной и действенной, нам следовало бы сначала обратить ее к тем, кто нами правят и являются официальными представителями России. Это их бы надо было сперва научить, каковы истинные их отношения к ней, — смотрите мол, что происходит. Смотрите, с какой безрассудной поспешностью мы хлопочем о примирении держав, которые могут притти к соглашению лишь для того, чтобы обратиться против нас. А почему такая оплошность? Потому, что до сих пор мы еще не научились различать наше я от нашего не я. Как же называют человека, который потерял сознание своей личности? Его называют кретин⁸. Так вот сей кретин — это наша политика.

Простите, дорогой Юрий Федорович, за всю эту болтовню — и счастливого пути.

Ф. Тютчев

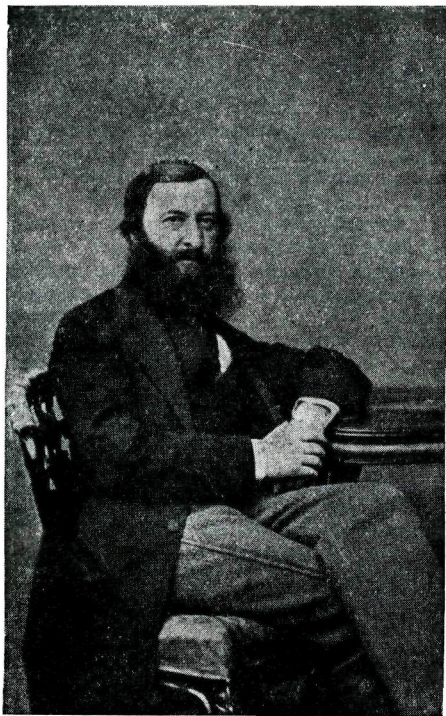
¹ Самарин, Юрий Федорович (1819 — 1876) — известный общественный деятель и писатель, славянофил.

² Полонский, Яков Петрович (1820—1898) — поэт, близкий знакомый Тютчева.

³ Неясно, о каком стихотворении Полонского, написанном по случаю Славянского съезда, идет речь в письме Тютчева. В книге Н. А. Попова «Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года» (М., 1867), день за днем и в мельчайших подробностях передающей все события пребывания славян в России, приводящей дословно все сказанные им приветственные речи, стихи и даже тосты, нигде не упоминается о стихах Полонского. В двух изданиях сочинений Полонского (изд. Ж. А. Полонской — СПб., 1885—1886 и А. Ф. Маркса — СПб., 1896) нет ни одного стихотворения, которое по своему содержанию могло бы относиться к приезду славян в Россию.

⁴ Тютчев имеет в виду свое стихотворение «Славянам» («Они кричат, они грозятся...»). В Государственном Литературном музее среди автографов семейного архива Тютчевых

Ю. Ф. САМАРИН
Фотография 1860-х гг.
Собрание Н. И. Тютчева, Москва



находится первоначальная карандашная запись этого стихотворения, значительно различающаяся от окончательного текста. В этом автографе ряд зачеркнутых вариантов, зачеркнута и целая строфа:

Она раздвинется пред вами,
Обхватит вас и обоймет,
Потом сомкнется пред врагами
И к ним поближе подойдет.

Строфа эта изменена следующим образом:

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет...

Первоначальная редакция стихотворения относится к 11 мая 1867 г. На следующий день Тютчев присутствовал на обеде в честь славян у министра народного просвещения гр. Д. А. Толстого. В числе приглашенных был и Ю. Ф. Самарин, которому Тютчев мог передать свое стихотворение. Не лишено вероятности, что хранящийся в ЛМ автограф именно и находился в руках Самарина. Однако 16 мая Тютчев посылает Аксакову другую редакцию пьесы со следующей припиской: «Вот вам, любезнейший Иван Сергеевич, окончательное издание этих довольно ничтожных стихов, уже вероятно сообщенных вам Ю. Ф. Самариним. Не смейтесь над этою ребячески-отеческою заботливостью рифмотворца об окончательном округлении своего пустозвонного безделья» (подлинник принадлежит Н. И. Тютчеву). В этом «окончательном издании» Тютчев добавил лишнюю предпоследнюю строфу и снова зачеркнул восстановленное было чтение последней строфы: «Она раздвинется пред вами...» и проч. В такой редакции стихотворение было впервые напечатано в сборнике «Братьям-славянам» (М., май 1867 г., стр. 60—62).

⁵ Латинская поговорка: «любовь или (пристрастие) к мелочам».

⁶ Письмо это написано Тютчевым в связи со следующими событиями. В конце 1864 г. в среде состоявшего при Московском университете Общества Любителей Естествознания возникла мысль об устройстве в Москве всероссийской этнографической выставки. В 1865 г. программа выставки была расширена включением славянского отдела, к устройству которого были привлечены наиболее выдающиеся славянские ученые и общественные деятели. Открытие выставки состоялось 23 апреля 1867 г. в здании Манежа. Славянская депутация, состоявшая из 81 представителя различных

славянских народностей Балканского полуострова и Западной Европы, прибыла 8 мая 1867 г. в Петербург. В состав приглашенной на выставку славянской депутации не были включены только поляки, а самый съезд сопровождался различными демонстрациями против «отсутствующего Иуды». Кстати сказать, пустое кресло с такой именно надписью фигурировало на одном из официальных собраний во время съезда. На торжественном представлении оперы «Жизнь за царя» публика встретила шиканьем мазурку. «Так и пахло Муравьевщиной, Катковщиной, крепостниками, квартальными», писал по этому поводу Герцен («Мазурка» — «Колокол» от 15 июня 1867 г.). С момента приезда и до самого отбытия славянских гостей в Москву (15 мая) продолжалось их чествование. Следует отметить грандиозный банкет, устроенный Петербургским Дворянским собранием 12 мая. На этом банкете присутствовал и Тютчев, сидевший рядом с известным чешским политическим деятелем Ф. Ригером. Об этой встрече с Ригером Тютчев вспоминал впоследствии в одном из своих писем к кн. Е. Э. Трубецкой (от 6 декабря 1871). В качестве приветствия гостям было прочтено написанное по этому случаю стихотворение Тютчева «Привет вам задушевный, братья...». 14 мая славянская делегация представлялась в Царском Селе Александру II. Довольно бессодержательная беседа велась все время по-русски.

С 16 по 27 мая происходили празднества в честь славян в Москве. На одном из них — банкете, данном городом в Сокольниках (21 мая), — было прочитано стихотворение Тютчева «Они кричат, они грозятся...».

Вопреки чаяниям славянофилов эта «всеславянская сходка» оказалась лишенной какого бы то ни было политического значения.

¹ Т. е. основная точка зрения.

16

И. С. АКСАКОВУ

СПБ. 23 сент[ября] 1867.

Восточный вопрос двинут нами на один шаг вперед. Вчера мы сообщили французскому кабинету декларацию, которую собираемся предъявить, приглашая его присоединиться к ней, не не скрывая от него, что в случае отказа с его стороны мы все-таки предъявим ее от себя единолично ¹. Декларация эта заявляет, что, признав бесплодность своих стараний склонить Порту к принятию по отношению к ее поданным — христианам мало-мальски человеческой политики, Россия отныне прекращает свои старания, предоставляя Турции последствиям ее поведения и слагая с себя ответственность за все, могущее впредь произойти.

Чтобы оценить значение этой декларации, надо знать действительное положение вещей в настоящее время. При нашем посредстве только что состоялось соглашение между греками и сербами, и они ждут только нашего сигнала, чтобы подняться. Эта декларация и явится таким сигналом, и можно рассчитывать, что в скором времени пожар станет всеобщим.

Теперь вот каково положение, в которое поставит нас предпринятый нами шаг, особенно в том случае, если Франция — что вероятно — откажется присоединиться к нему. Признавая законность восстания христиан, мы приняли бы перед ними на себя обязательство оградить их от всякого иностранного вмешательства, хотя бы ценою войны. Таково положение.

Этим смелым шагом мы всецело обязаны личной инициативе Горчакова. Он был внушен ему как совокупностью политической обстановки, так и желанием поправить все глупости, наделанные Игнатьевым в Ливадии ², вопреки определенному мнению и несмотря на все возражения князя. Его поступок стоит признательности; это несомненно благородное побуждение и вполне достойное его дипломатической кампании по данному вопросу.

Я сообщаю вам эти подробности отнюдь не для того, чтобы они были переданы потомству под каким бы то ни было видом в качестве ли слухов или известия о совершившемся факте. Это было бы преждевременно и могло бы повредить делу. Но вот что, я думаю, было бы возможно и даже полезно: в исчерпывающей статье о положении данного момента указать на шаг, подобный только что предпри-

натыму, как на *desideratum*, подсказываемое достоинством и интересами России и по этому поводу было бы только справедливо высказать сочувствие обычно национальным побуждениям политики Горчакова, стараясь при этом не слишком выдвигать его вперед в ущерб императору и т. д., и т. д., и т. д.

¹ Письмо это написано в связи со следующими политическими событиями.

В 1866—1867 гг. о. Крит был охвачен восстанием против Турции. Накануне нового 1867 г. Тютчев писал:

Опять Восток дымится свежей кровью.
Опять резня... повсюду вой и плач,
И снова прав пирующий палач,
А жертвы преданы злословью.

(«Хотя б она сошла с лица земного»)

Критяне пользовались поддержкой греков; сильное брожение при содействии русского правительства проникло вообще в среду христианских народностей на Балканах, и Тютчеву казалось, что именно теперь удобный для России момент, чтобы выступить с решительной политикой по восточному вопросу (ср. его стихотворение 1866 г. «Ты долго ль будешь за туманом Скрываться, русская звезда...», в особенности заключительные его строки: «Взгляни, чей флаг там гибнет в море. Проснись теперь или никогда...»).

В апреле 1867 г. Россия, Франция, Северо-германский союз и Италия обратились к турецкому правительству с предложением предоставить восставшим критянам возможность высказаться путем публичного относительно будущего положения острова. С точки зрения держав наиболее желательной была добровольная со стороны Турции уступка острова Крита греческому правительству.

В ответ на отказ турецкого правительства все страны, выступавшие в апреле с одинаковым предложением, заявили о том, что они снимают с себя всякую ответственность за все могущие произойти последствия. Об этой декларации, сделанной по инициативе России, и пишет Тютчев.

Вопреки чаяниям поэта декларация эта оказалась весьма неблагоприятной по отношению к восставшим народностям: к концу 1868 г. восстание было подавлено с невероятными жестокостями.

² Летом 1867 г. Н. П. Игнатьев (о нем см. примечания к письму 13) присутствовал в Ливадии при приеме чрезвычайного турецкого посольства во главе с министром иностранных дел Мехмед Фуад-пашей (1814—1869). В августе того же года Тютчев писал своей дочери М. Ф. Бирилевой: «Фуад-паша приезжал в Ливадию и отбыл оттуда с лентой св. Александра. Что же случилось? Согласилась ли Турция на наши предложения, подписала ли наш меморандум? Ничуть не бывало. Я читал депешу Игнатьева, который отдает отчет канцлеру в том, что произошло. Хотя сквозь землю провалиться при виде подобной глупости и несостоятельности... Одни фразы, одни неясные обещания; ни одного обязательства, имеющего хоть сколько-нибудь серьезное значение. Бедный Горчаков протестует против ленты св. Александра и на сей раз снова его мнение не принимается во внимание. С ним не считаются, не находя нужным предугадывать чисто моральное впечатление, какое неминуемо произведет подобная несообразность не только на общественное мнение России, но и всего христианского Востока, а равномерно и всех остальных стран» (перевод с французского. — Мурановский архив).

В письме к И. С. Аксакову от 23 августа 1867 г. Тютчев однако отзывается гораздо спокойнее об этом событии: «Посольство Фуада-паши в Ливадию ограничилось разменом пошлостей, а данный ему орден вопреки мнению кн. Горчакова ничто иное как рутинная обрядность, имеющая значение только в том смысле, что подобная несообразность доказывает, как мало понимают современное настроение или как мало дорожат им» (Мурановский архив).

Ваша превосходная передовая статья от 30 сентября № 141 принята была здесь с большим сочувствием и признательностью...¹ Еще раз я имел случай убедиться, какое значение приобрело у нас слово печати, разумно-честной печати, особ-

ливо в правительственных сферах. Его еще не всегда слушаются, но всегда слушают... Касательно нашей декларации по восточному вопросу мы рассчитываем на безусловное согласие Пруссии и Италии. Французское правительство также соглашается приступить к ней, но просит некоторых изменений в редакции, которые будут приняты, если они не изменяют, не ослабляют смысла и значения². В противном же случае мы предъявим наше решение отдельно, от своего имени, и это было бы самое лучшее, потому что согласие в словах все-таки не поведет к существенному согласию на деле. Все это дипломатические дразни. Вопрос не в них, весь вопрос теперь заключается вот в чем. След за нашим заявлением произойдет ли на Востоке общий взрыв, и в этом случае хватит ли в нас довольно решимости, довольно самоуверенности, чтобы ценою нашего невмешательства заручить восставшим христианам невмешательство со стороны западных держав. Вот на что, по-моему, должна теперь наша печать налечь всею силою своих убеждений. Это жизненный вопрос и для Востока, и для самой России.

Поэтому конечно желательно, очень желательно, чтобы взрыву на Востоке предшествовал взрыв на Западе... Усобица на Западе — вот наш лучший политический союз...

Очень бы было назидательно и даже эффектно, если бы с Рима загорелся Запад; что же до Франции, то обстоятельства ее сложились так, что ей нет другого исхода, кроме войны или новой революции, которая все-таки не избавит ее от войны.

Перед громадностью грозящих событий конечно места нет нашим жалким человеческим соображениям, но с нашей точки казалось бы, что в интересе всей Восточной, т. е. Русской, Европы самое желательное — пролить еще на несколько лет этот тлетворный мир, так сильно содействующий процессу разложения, а без полного, коренного разложения нельзя будет приступить к перестройке. Не в призвании России являться на сцене, как *deus ex machina*³. Надо, чтобы сама история очистила наперед для нее место...

По вопросам внешней политики в данную минуту значение нашей печати идет видимо в гору. В высшей сфере есть какое-то личное соревнование в национальной политике и все сильнее и сильнее чувствуется потребность опираться на общественное мнение, но вот что и на печать налагает обязанность быть все более и более сознательною.

В заключение обращаюсь к вам с просьбою, любезнейший Иван Сергеевич. Мне писать трудно, вам — некогда. Скажите Ване⁴, чтобы он хоть раз в неделю извещал меня о здоровье Анны; ее здоровье — это мой личный восточный вопрос, и когда-то он разрешится? Господь с вами.

¹ Передовая статья «Москвы» от 30 сентября 1867 г. написана Аксаковым под непосредственным впечатлением от предыдущего письма к нему Тютчева и пересказывает основные мысли этого письма. В конце статьи, согласно наставлению Тютчева, Аксаков просит уделить некоторую долю внимания русскому общественному мнению, «неизменившемуся в своем доверии к главе наших дипломатов с знаменитой политической кампании 1864 года».

Немудрено, что статья Аксакова была прочтена Горчаковым «с признательностью».

² Некоторые изменения в декларации были сделаны.

³ *Deus ex machina* — латинское выражение, обозначающее неожиданную, не вытекающую из действия драмы развязку, напр. в классической драме — появление богов, а в современной — новых лиц.

⁴ Тютчев, Иван Федорович (1846—1909) — младший сын поэта. Окончив весной 1867 г. курс Училища Правоведения, с осени того же года служил в Москве в так называемом «старом» Сенате.

я не хочу последним присоединить свой голос к великому голосу страны, которая приветствует вас в эту минуту. Делаю это без оговорок и без опасений, успокоенный

сознанием того, чьей рукой направлен только что нанесенный смелый удар¹. Здесь, как вы можете себе представить, все ликуют. И уже сегодня утром в Думе шла речь о благодарственном адресе, который должен быть поднесен государю.

Тысяча почтительных приветствий.

Ф. Тютчев

¹ В подлиннике проставлен 1871 г., однако не рукой Тютчева. Из содержания же письма явствует, что оно относится к 1870 г.

² Тютчев имеет в виду декларацию 19 октября 1870 г. об отмене стеснительных для России статей трактата 1856 г. Извещавшая об этом событии «циркулярная депеша государственного канцлера к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат от 18/30 марта 1856 г.», обнародована 3 ноября 1870 г. в «Правительственном Вестнике».

19

ИЗ ПИСЬМА А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург, сего 7 ноября [1870].

...Итак, вы были очень удивлены пресловутым циркуляром, а между тем то, что я вам писал наперед, должно было бы подготовить вас к нему. Каково же истинное значение этого факта? Определить это нелегко. Нет сомнения в том, что честь почина принадлежит самому государю; он всегда рассматривал отмену договора 1856 г. как долг чести перед Россией, принятый на себя его отцом и который он торопился уплатить. Он сам говорил недавно, что эта забота стоила ему немало бессонных ночей. Это безусловно благородное чувство, которое нельзя достаточно ценить в нем... Теперь, имелось ли полное и всестороннее сознание своего поступка? Имелось ли достаточное понимание всей важности принятого решения? Увы! Думаю, что нет. Говорят, правда, что восточного вопроса поднимать не хотят, а это еще одна из наивностей, нам свойственных. Как всегда то же непонимание и себя самого и себя по отношению к другим, и как всегда наши же лучшие чувства подчеркивают эту невозможность взаимного понимания. Боюсь, что это лишь повторение, повторение 1854 года, когда здесь думали, что могут по своему усмотрению и на свой рост перекроить вопрос, который как в то время, так и теперь поднимали сами, потому что не понимали его. Да оградит нас господь в своем милосердии от еще более серьезных последствий вторичной ошибки. Что касается нас, что касается каждого любящего свою родину, наш долг очевиден. В инициативе правительства мы должны ценить лишь то национальное и поистине великодушное чувство, которое в ней действительно есть, и решительно отвергнуть все оговорки, сомнения и колебания. Здесь печать высказалась с большим достоинством и приличием, и нельзя достаточно пожалеть о том, что «Московские Ведомости» не придерживались той же умеренности, о чем свидетельствуют оговорки в форме сомнений, высказанные в конце большой Катковской статьи¹. Ах! до какой степени это ничтожно и до какой степени мелочность слишком сильной индивидуальности отвратительна в такую минуту и перед лицом тех уроков, которые дает нам Франция. Разве бедная Франция не погибла именно в результате произвола отдельных личностей, которые не хотят признавать ничего вне самих себя. О, ослепление человеческое! И это еще одна из тысячи причин, говорящих в пользу скорейшего возобновления печатного органа подобного тому, каким была «Москва». Перед лицом того, что совершается, и того, что еще имеет совершиться, вы теперь поняли, думаю я, почему я рассчитываю на осуществление этой надежды вопреки всем препятствиям, которые может создать упорство глупости. Глупость в делах этого мира несомненно сила первого разряда, но ведь бывает же и такое положение, когда инстинкт самосохранения сильнее ее, а мы подходим именно к такому моменту. Ноты, полученные до сих пор, неприятны по тону, но не предвещают непосредственного конфликта. Это еще не война, но отношения будут более натянуты, чем когда либо, враждебность усилится. В первую минуту испуга постараются смягчить все это уступками и ухудшат положение. В конце концов поймут, надо надеяться, что

государство, точно так же как и отдельное существо, не может не подчиняться естественному закону и что всякая попытка в этом направлении не только бессильна, но всецело несет с собой свою жестокую кару. Да хранит вас бог.

¹ Точка зрения Каткова на политическое значение циркуляра высказана в ряде передовых статей «Московских Ведомостей» за ноябрь 1870 г. Суть их сводилась к успокоению встревоженного общественного мнения Запада. Так например, в первой статье № 244 от 12 ноября, говоря о том, что «Россия не хочет возбуждать восточный вопрос», Катков ссылался на то, что «она не только не помышляет исключительного протектората над христианским населением Турции, но отказывается и от тех способов влияния, которых никто у ней не оспаривает». При этом он указывал на два мероприятия русского правительства, совпавших с появлением циркуляра: во-первых, чрезвычайно высокий «почти запретительный» налог на русские периодические издания, шедшие на Восток — в Турцию и Грецию, и во-вторых, отказ в помощи на поддержку православных церквей в Сирии. Первой из указанных мер являются и те «оговорки» в конце передовой статьи «Московских Ведомостей» от 7 ноября 1870 г., о которых упоминает в своем письме Тютчев.

20

М. Ф. БИРЯЛЕВА¹ и Ф. И. ТЮТЧЕВ — И. С. АКСАКОВУ

[Петербург] 12 ноября 1870

По части новостей запас мой к сожалению весьма скуден и ограничивается ли немногими ходящими по городу не особенно основательными должно быть слухами. Напр[имер], дополняют телеграмму из Вены от 10/22 ноября о миролюбивом настроении оттоманского кабинета³ известием, будто он уже отнесся сюда с предложением судить сообща изменения, которым в силу нашей декларации, мы желаем подвергнуть спорные статьи Парижского трактата. Впрочем это вероятно скорее пророчество и выражение надежд не воинственно настроенных оптимистов, чем исторический факт. Достоверно только, что представитель Турции в Петербурге⁴ держит себя смирно. Бьюкенен⁵ также притих совершенно, одни секретари посольства продолжают ратовать в смысле статей английских газет, а общественное мнение посещаемых ими салонов мало обуздывает пыл британского задора. О том, что происходит или предполагается в наших высших дипломатических сферах, не имеем сведений, так как папа все еще не виделся с своим сиятельным и сияющим другом⁶. Вот несколько строк, писанных под диктовку папы или вернее стенографированных с его слов; они главным образом вызваны негодованием и раздражением, которые возбуждают в нем статьи Каткова.

«Не в качестве жителя Петербурга, а как всякий русский желал бы я выяснить: как то самое заявление, которое кажется до того бесцветным не Москве, а опять таки некоторым жителям Москвы, могло возбудить до такой степени, — не говорю негодование, а просто бешенство всей антирусской заграничной печати. Кто же наконец лучше определил смысл этого заявления: весь ли антирусский Запад или несколько личностей, между нами — имеющих может быть право не безусловно доверять правительству, но которым бы не мешало проверять свои впечатления впечатлениями наших противников, в этом случае более нас беспристрастных. Или русская публика должна непременно походить на кухарку д'Аламбера⁷, вбежавшую однажды в каком-то испуге к нему в комнату с вопросом: справедлива ли молва, приписывающая ее господи необыкновенно умное сочинение? И когда же наконец мы перестанем противопоставлять московскую публику публике петербургской? Чем же существенно разнятся Английский клуб в Москве от Английского клуба в Петербурге, а не эти ли клубы — представители этих двух публик? И откуда все эти превратные толкования, не уступающие ни в чем не менее превратным, но несравненно более сознательным заграничным ли толкованиям нашей циркулярной депеши? Где же в ней говорится о нашей готовности усилить гарантии для охраны Турецкой империи? Она говорит только о принятии новых мер к более прочному умиротворению Востока, а кто же из нас, кто хотя поверхностно читал обнародованные в последних годах депеши кн. Горчакова, не знает и не понял, как мы разумеем умиротворение Востока? Не ясно ли из этих депеш, что мы не считаем иначе возможным это умиротворение, как дарованием полнейшего

автономии тем из славянских племен, не получивших [sic!] ее еще от Турции? И, наконец, что это за патриотизм, что это за преданность русскому делу, которые, как в последних статьях «Московских Ведомостей», всегда готовы жертвовать им своему личному мнимо-обиженному самолюбию? Или как же объяснить себе хоть последнюю выходку Каткова в передовой статье 11-го ноября, где он, приведя сочувственные к нам заявления славянской печати, обращается к славянам с таким возгласом: о, бедные славяне Цислейтании! в настоящую минуту может быть совершаются ваши судьбы вопреки всем вашим сочувствиям!⁸ Что это? И что могла бы высказать более враждебного, более ядовитого для России в данную минуту самая неприязненная России мадьярская или польская газета? И если бы в самом деле было серьезное общественное мнение в Москве, мыслима ли была бы подобная выходка? И как, наконец, понять, что пример Франции, разрушающейся перед нашими глазами, не в состоянии несколько умудрить нас? Да отчего же гибнет Франция, отчего же никакой разумный общественный порядок не мог установиться в ней, как не от того, что в этой несчастной Франции самые благородные личности не могли никогда устоять перед искушениями своего личного задора во всех общественных вопросах. И мы еще после этого все будем толковать о том существенном различии, отделяющем духовную суть русского элемента от западных направлений! Странное дело самообольщение, и никогда оно так не пагубно, как когда ему подпадают лучшие люди...»

Изрекши это, папа потянулся на своей кушетке и сладко заснул. И я, исполнив смиренную должность секретаря, на сегодня прощусь с вами, добрейший Иван Сергеевич. Мама⁹ и я получили Аннины письма — благодарим ее и нежно обнимаем, вам же дружески жмем руку.

Преданная вам Мария Б.

Вот последние стихи папа, воспевающие бессмертные прелести души неизвестной мне красавицы¹⁰. Написала ли Анна Е. Н. Карамзиной?¹¹. Следовало бы. Она так счастлива и так любит, чтобы вместе с ней радовались благополучию Кати¹².



И. С. АКСАКОВ

Фотография 1860-х гг.

Собрание Н. И. Тютчева, Москва.

¹ Бирилева, Мария Федоровна (1840—1872), рожд. Тютчева, младшая дочь поэта; с 1865 г. замужем за флигель-адъютантом Н. А. Бирилевым.

² И. С. Аксаков просил М. Ф. Бирилеву сообщать ему все известные ей новости, касающиеся правительственной декларации.

³ «Journal de St-Petersbourg» от 12(24) ноября 1870 г.: «Вена, вторник 22 ноября. Correspondenz Bureau извещает из Константинополя от 21 числа: «В хорошо осведомленных кругах уверяют, что Турция желает избежать какого бы то ни было конфликта с Россией и пытается убедить державы, подписавшие Парижский трактат, принять во внимание требования России».

⁴ Конемениос-бей — турецкий поверенный в делах в 1869—1870 гг.

⁵ Бьюкенен, сэр Андрей, английский посол в России с 1864 по 1871 гг.

⁶ Кн. А. М. Горчаков.

⁷ Д'Аламбер, Жан (1717—1783). — знаменитый французский энциклопедист.

⁸ Не совсем точная цитата из передовой статьи «Московских Ведомостей» от 11 ноября 1870 г. По поводу утверждения мадьярской прессы о том, что «война с Россией будет в Австро-Венгрии популярнейшею из войн», и ответного заявления пражской газеты «Politik»: «война Австрии против России не согласна ни с интересами, ни с сочувствиями славянских народов», — Катков замечает: «Бедные славяне Цислейтании! Кто знает, быть может судьбы их уже совершаются, при чем о их сочувствии спрашивать не будут...»

⁹ Тютчева, Эрнестина Федоровна (1810—1894), рожд. бар. фон-Пфеффель, вторая жена поэта, в первом браке бар. Дернаберг.

¹⁰ При письме приложена копия стихотворения Тютчева «Чему бы жизнь нас ни учила...», посвященного А. В. Плетневой. См. ниже в отделе сообщений письмо Тютчева к ней.

¹¹ Карамзина, Елизавета Николаевна (1821—1891) — дочь историка.

¹² Мещерская, Екатерина Петровна (1840—1925) — племянница Е. Н. Карамзиной; в 1870 г. помолвлена с гр. В. П. Клейнмихелем.

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург, 22 ноября [1870].

Да конечно, дочь моя, я был вполне удовлетворен адресом¹, на этот раз столь же формой, сколь и по существу, и правительство, которое послушалось бы благого внушения принять его во всей целости, оказалось бы весьма сильным пред лицом Европы. Но случится ли это? Можно ли рассчитывать на подобное внушение? Такое сомнение, увы! допустимо... В этом наше несчастье — в неурядице, в непоследовательности действий, происходящих в значительной мере от того, что нет у нас полного разуменья собственных инстинктов. Это же заставляет и других сомневаться в серьезности наших решений. А между тем в современном кризисе нет ничего серьезнее проявляемой решимости, нет ничего более действительно и благородно национального, как личное вдохновение государя. Надо всецело уверить себя в этом; теперь нельзя больше сомневаться в том, что мысль стянуть с себя позор последнего трактата была одной из величайших забот его жизни и не переставала преследовать его ни днем, ни ночью, и это в самом буквальном смысле слова... Ждали только благоприятной минуты. Говорят, что то же самое заявление было бы сделано еще в 1866 году, но тогдашняя война² оказалась недостаточно продолжительной для этого. Теперь несомненно общее положение Европы гораздо благоприятнее, и политика кабинета доказала бы свою косность и тупость, если бы не сумела использовать его; а такого упрека политике кабинета не избежала бы даже со стороны тех, кто теперь обвиняет его в излишней смелости. Что же касается твердости, с коей будет поддерживаться принятое решение то на такую, то, думается, можно рассчитывать вполне — и в этом отношении, уверяю меня, император еще более непоколебим, чем его канцлер. Мы заявим на конференции то, что заявили уже всем кабинетам в отдельности, именно, что уничтожение статьи 14-й трактата является с нашей стороны совершившимся фактом и что мы не допустим никакого изменения этого факта. Что же касается прочих статей трактата, то мы согласимся на их обсуждение и вполне охотно пойдем на более точное определение условий и гарантий длительного умиротворения на Востоке. Те же, кто ознакомился в свое время с депешами, обнародованными князем Горчаковым, отлично знают,

что мы понимаем и что хотим сказать словами: умиротворение на Востоке. Это, в конечном смысле, широкая система административной автономии, дарованная христианам. Таково истинное положение в данный момент. То, что я здесь утверждаю, известно мне самым достоверным образом. Впрочем, стоит только прочесть печатаемую в настоящее время дипломатическую переписку, чтобы убедиться в этом. Но есть еще одно современное явление столь же несомненное, как и твердый и достойный образ действий нашего кабинета. Это — жалкое и даже омерзительное поведение петербургских салонов. Они превзошли мои ожидания, а это немало значит. Если бы еще это было чувство преувеличенной тревоги, но нет — это просто самое наивное выражение отсутствия всякого национального чувства и понимания. На этом первоначальном фундаменте воздвигаются еще всякого рода жалкие личные соображения, мелкие скверные инстинкты и т. д. и т. д. Я встречал бывших министров и теперешних государственных деятелей, которые, на основании изречений иностранной прессы, краснели самым искренним образом от ужасного скандала, в коем мы провинились, отринув одной своей собственной волей статью трактата, а иные заявляли, что впредь они не решатся смотреть иностранцам в лицо... Буквально так, и они изливали все эти дурачества с выражением раскаяния и добродетельной грусти. Для дополнения картины это глупое и бестолковое отродье иностранных дипломатов, принимающее всерьез все манифестации наших, так называемых, аристократических салонов и извлекающее бесконечные выводы из этой оппозиции высших классов против усвоенной правительством политики. Так что я наконец заявил некоторым из сих господ дипломатического корпуса, что они с таким же успехом могли бы справиться о настроениях страны у французской труппы Михайловского театра, как и в любом салоне или кружке изысканного общества Петербурга, в виду того, что ни те, ни другие не имеют решительно ничего общего с Россией; правда, все это касается лишь общества салонов. Что же касается широкой публики, то ее мнение, в общем, точно воспроизводится здешними органами печати. Иностранная же пресса тоже вполне поняла, в чем дело, чем и объясняется ее вполне обоснованное раздражение. Она почувала, что вновь овладевшей нашей независимостью на почве восточного вопроса, мы тем самым отвергли и свели на-нет опеку, присвоенную на этой почве западными державами; таковы положительно смысл и значение принятого нами почина. Но мои пальцы так онемели, что мне невозможно продолжать. Храни вас бог.

¹ Адрес Московской Городской думы. См. об этом во вступительном очерке.

² Т. е. австро-прусская война.

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург, сего 1 декабря [1870].

Я до сих пор откладывал ответ на твое письмо от 25-го за отсутствием okazji. По отношению к переписке мы находимся в положении, подобном положению парижан: добрый Батюшков¹, вот мой аэростат — минус отклонения...

Есть стихи Микель-Анджело, где говорится следующее о том времени, когда он жил:

Mentre che il danno e la vergogna dura
Non sentir, non pensar é gran ventura².

Что означает по-русски: пока глупцы царствуют и управляют, умные люди должны бы молчать. Таков смысл адреса, о котором идет речь и который, коснувшись самого больного вопроса, раскрыл во всем блеске все сокровища глупости, невежества и бездарного раболепства, скрытые в русском обществе. И не он один, дорогой бедняга², получил неприятное и совершенно ложное впечатление, сбитый с толку как всегда у нас неправильными историческими аналогиями, почерпнутыми из неопределенных воспоминаний о чем-то давно прочитанном. Ведь дошел же он до того, что увидел в этом не совсем лояльную и конечно не совсем патриотическую попытку злоупотре-

требить обстоятельствами минуты, чтобы навязать ему нечто вроде конституции. Большая часть общества тотчас же инстинктивно примкнула к этой остроумной точке зрения и даже среди людей, которых никак нельзя назвать глупцами или подлецами, твердо укоренилось убеждение, что манифестация несвоевременна. И при этом случае, наивно проявилась истинная природа отношений этого прелестного общества к верховной власти. Саушая эти выражения встревоженной почтительности, было бы можно подумать, что речь идет даже не о больном, нервы и *idée fixe* которого должно оберегать от всякого возбуждения и раздражения, а скорей о каком-то пугливом звере, к которому нельзя подойти иначе, как тщательно спрятав малейший лоскуток красной материи, который случайно имеешь на себе. И как будто никому в голову не приходят те страшные выводы, к каким логически приводят подобные опасения.

Что же, если это так, будем достаточно мужественны духовно, чтобы сказать, что, несмотря на мнимую его несвоевременность, великая заслуга адреса и заключалась в том, что он разоблачил такое состояние отупения умов; в моих глазах большая честь для Аксакова, несомненно им заслуженная, и состоит в том, что он приложил руку к этому адресу в настоящем его виде... Это было первое проявление со стороны общества во имя самых лучших национальных чувств, против отвратительных влияний, преобладающих в настоящее время. Словом, это был протест во имя русского абсолютизма против абсолютизма иностранного происхождения, являющегося, не скажу — его карикатурой, но прямым его отрицанием. Ибо абсолютизм — этот режим, заимствованный нами у дряхлого общества, этот осадок, этот *carpi portum* всякой отжившей цивилизации, отрицает всякий моральный элемент в человеческом обществе. Между тем, русский абсолютизм прежде всего сила нравственного порядка, все дело в этом, и только отдав себе полный отчет в непримиримом антагонизме этих двух принципов, находящихся в непрестанной борьбе между собой не только в обществе, но и в сознании самого монарха, можно правильно оценить положение, в котором мы находимся в настоящее время, и строить предположения относительно будущего. Ибо продолжение этой борьбы может только ухудшить дело и в конце концов привести к катастрофе. И к несчастью, надо признать, что борьба, о которой идет речь, могла бы прекратиться лишь в результате чуда, т. е. нравственного переворота в сознании членов самой династии. Возможно ли такое чудо, есть ли на него надежда?.. Существуют ли в истории примеры того, чтобы власть, утратившая сама всякую веру в правоту своей цели, когда-либо сумела вновь обрести это сознание? А без этой веры как будут они существовать?.. Мне рассказывали, что недавно министр внутренних дел⁴, говоря о России, утверждал, что это единственная страна в Европе, где консервативный элемент [пропуск в подлиннике].

Вот оценки и точки зрения, при помощи которых нами управляют и которые рукождения оно добавило к чертам, характерным для этого происхождения, новую черту, водят нашей судьбой.

Грубо материалистический и атеистический абсолютизм, единственное учение, доступное этим умам, имеет у нас еще ту особенность, что будучи иностранного происхождения оно добавило к чертам, характерным для этого происхождения, новую черту, самую отличительную из всех — презрительную и тупую ненависть ко всему русскому, инстинктивное, так сказать, непонимание всего национального — таково их сознание... И вот почему, если случается, что по какому-либо вопросу в сознании самого монарха проявляются какие-то проблески национального чувства, эти люди совершенно теряются и только благодаря их раболепству им удается хоть сколько-нибудь скрыть свое разочарование. — Это-то и произошло с ними недавно по поводу знаменитого циркуляра, который именно благодаря известному вдохновляющему его национальному чувству, раздражил их еще больше, чем напугал. Ведь разумеется, не предвидение возможной минуты слабости со стороны кабинета так рассердило их; скорее именно наоборот: все более и более обоснованные опасения, что Россия будет тверда и заставит иностранные державы отступить перед собой. А повидимому именно это в действительности и произойдет. Государь говорил недавно канцлеру, что в нашей демонстрации

ему больше всего нравится именно форма, и нельзя достаточно быть ему благодарным за то, что он почувствовал это, за то, что он понял, что на этот раз существовала именно форма, что в ней вся суть вопроса. Конференция соберется в течение этой недели и русский уполномоченный⁵ имеет предписание удалиться при первом настойчивом требовании со стороны держав, чтобы Россия отказалась от своей точки зрения. Но можно быть уверенным, что до этого дело не дойдет. На днях американский посланник⁶, человек серьезный и весьма влиятельный у себя дома, говорил конфиденциально, что Америка ближе к войне с Англией, чем Россия, тоже и другие и т. д. и т. д. Продолжение вскоре.

¹ Батюшков, Помпей Николаевич (1811—1892) — брат поэта К. Н. Батюшкова, издатель ряда трудов по археологии и этнографии России. В 1870 г. Тютчев несколько раз пересылал свои письма к Аксаковым через Батюшкова во избежание перлюстрации. Намек на «положение, подобное положению парижан» очевидно связан с прекращением возможности непосредственных сношений между осажденным Парижем и внешним миром.

² В стихотворном переводе Тютчева (1855 г.) эти строки звучат так:

О, в этот век преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать — удел завидный.

³ Т. е. Александр II.

⁴ Тимашев, Александр Егорович (1818—1893) — генерал-адъютант, министр внутренних дел с 1868 по 1878 г.

⁵ Бруннов, бар. Филипп Иванович (1797—1875) — дипломат, русский посол в Лондоне с 1840 по 1853 г., с 1868 по 1874 г.; получил графский титул за участие в лондонской конференции 1871 г. Насколько заслужена была эта награда можно судить по данным, приведенным М. Н. Покровским в его книге «Дипломатия и войны царской России» (стр. 241—243).

⁶ Кертин — американский посланник в Петербурге с 1869 по 1873 г.

23

А. М. ГОРЧАКОВУ

Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни' рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.

И нам зевещанное море,
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.

Счастлив, в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом,
Счастлив, кто точку Архимеда
Умел сыскать в себе самом.

Кто, полный бодрого терпенья,
Расчет с отвагой совмещал¹ —
То сдерживал свои стремленья,
То своевременно дерзал.

Но кончено ль противоборство?
И как могучий ваш рычаг
Осилит в умниках упорство
И бессознательность в глупцах?²

Вторник [6(?) декабря 1870]³.

Вот, князь, статья, о которой я вам говорил, я отметил закладкой стихи, где идет речь о циркуляре⁴. Это конечно лучшая оценка, данная ему в нашей печати: вся статья замечательна. Жалко, что она написана несколько тяжелым и несколько бледным слогом.

А так как мои рифмы снижали ваше расположение, вот, князь, более точный и более полный их список⁵.

Тысяча сердечных приветствий.

Ф. Тютчев

¹ Вариант: Расчет с отвагой сочелал.

² После текста карандашная помета неизвестной рукой: 1870, декабрь.

³ Предположительно относим это письмо к 6 декабря 1870 г., так как этот день приходился во вторник. Эта дата кажется более вероятной, чем например 13-е, 20 или 27 декабря, также приходившиеся на вторник, так как она ближе к появлению в печати циркуляра и не отделена от него событием, тяжело поразившим Тютчева смертью брата (8 декабря).

⁴ О какой статье и о каких стихотворениях пишет Тютчев — выяснить не удалось. Не об этой ли статье писал Тютчев В. И. Ламанскому: «Я говорил к[нязю] Горчакову о брошюре. Он еще ее не получал, но желал бы почитать. Не можете вы, любезнейший Владимир Иванович, доставить ее мне часов на несколько» («Русская Мысль» 1915, кн. XI, стр. 130). Записка эта не датирована и лишь помечена пятницей.

⁵ Настоящий текст является более полной и, судя по словам самого Тютчева, окончательной редакцией этого стихотворения. В Горчаковском архиве сохранилась еще одна его запись — также рукой Тютчева — без четвертой строфы и с разночтениями трех последних стихов:

И как осилит ваш рычаг
В домашних умниках упорство
И глупость в родственниках?

Там же хранятся два экземпляра литографированной копии этого стихотворения на одном листе с другими стихами на ту же тему, принадлежавшими инспектору классов Воспитательного общества благородных девиц в Смольном институте К. Тимофееву. В литографированной копии, озаглавленной «Послание», имеются следующие варианты: правда, внушающие мало доверия в их действительной принадлежности Тютчеву:

ст. 1: Да, вы сдержали свое слово
— 16: То положительно дерзал.

Третий автограф этого стихотворения хранится в семейном архиве Тютчевых (АМ) и повидимому является промежуточным между двумя автографами Горчаковских архива. От окончательного текста он отличается только отсутствием четвертой строфы и иным чтением заключительного стиха:

И сдвинет глупость в дураках.

Стихотворение впервые увидело свет только после смерти автора.

И. С. Аксаков привел три первые строфы в своем биографическом очерке Тютчева («Русский Архив» 1874, вып. 10, столб. 322—323; см. также «Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, стр. 261). Здесь также имеются варианты в 3 и 12 строках:

ст. 3: В свои права вступить готова
— 12: Умел найти в себе самом...

Происхождение этих разночтений нам неизвестно. Полностью — в сокращенной редакции (по автографу архива Тютчевых) — стихотворение появилось в издании сочинений Тютчева 1900 г. (стр. 348). Текст этот, в котором только предпоследний стих читается отлично от автографа («Ослабит в умниках упорство»), с этих пор сделал общепринятым. В первом посмертном собрании сочинений Тютчева (СПБ., 1886, стр. 348—349) краткая редакция стихотворения была напечатана полностью, с вариантами аксаковского текста. До последнего времени оно ошибочно относилось к 1871 г.

Страстная суббота [27 марта¹ 1871].

Вот, князь, вирши, которые вы пожелали у меня спросить², и разрешите мне в пользоваться этим случаем, чтобы раньше всех сказать вам: Христос воскрес! Сколько людей в этой необъятной России почли бы себя счастливыми, если бы они могли обратиться к вам с тем же приветствием и в тех же условиях преданной любви, в каких нахожусь я по отношению к вам.

Ф. Т.



АНГЛИЙСКАЯ КАРИКАТУРА, НАПРАВЛЕННАЯ ПРОТИВ ЗАХВАТЧИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ЦАРСКОЙ РОССИИ

¹ В подлиннике дата 27 марта» проставлена не рукою поэта. Год определяется по содержанию письма.

² К письму приложено в копии М. Ф. Бирилевой стихотворение Тютчева «Пятнадцать лет с тех пор минуло...», написанное по поводу упразднения стеснительных для России статей Парижского трактата. Напечатано впервые в издании «Стихотворения к живым картинам, данным в пользу Славянского Благотворительного Комитета 29 марта 1871 г.». (СПБ, 1871, стр. 43—44). В копии Горчаковского архива стихотворение помечено 8 марта.

25

А. М. ГОРЧАКОВУ

[С.-Петербург, конец января 1873 г.]¹

Дорогой князь,

болезнь не только зло сама по себе, она и потому еще зло, что уничтожает все средства, способные ей противодействовать. Так например я отлично сознаю, что ничто не могло бы более оживить меня, чем пять минут, проведенные в вашем обществе, в чем я зачастую убеждался, приходя к вам по утрам. Ваша речь, такая живая, производила на мою онемевшую голову действие освежительного душа. И на этот раз я не желал бы быть ни у кого, кроме вас. Буду терпеливо ждать той минуты, когда мне позволено будет совершить это паломничество. Я решительно возражаю против всякого неблагоразумия с вашей стороны, так как в отношении здоровья умоляю вас заботиться только о своем и о тех предосторожностях, которые оно вам предписывает, ибо я инстинктивно чувствую, что в настоящий момент вы предпринимаете нечто значительное, затрагивающее в высшей степени честь и интересы страны, — и я уверен, что и на сей раз вы преодолете все затруднения к всеобщему удовлетворению, что обычно встречается реже, нежели вполне разумная оценка значения успеха.

Ободряющая снисходительность, с какою вы принимаете мои вирши, побуждает меня направить к вам прилагаемый плод последней бессонной ночи по поводу великого события дня. Это приблизительно рифмованная аналогия большой намеренной статьи в «*Journal de St-Petersbourg*», подводящей в такой полной мере итог всему тому, чем Россия обязана самой себе и правде².

Итак, берегите себя, дорогой князь, и поправляйтесь как можно скорее, ибо Россия нуждается в том, чтобы чувствовать себя поставленной на ноги.

Тютчев

¹ Датируется концом января 1873 г., так как статья, о которой упоминает Тютчев появилась в «*Journal de St-Petersbourg*» от 23 января 1873 г.

² «Вирши», посланные Тютчевым Горчакову, являются, с одной стороны, свидетельством почти болезненного влечения умирающего поэта к стихотворчеству наряду с явным упадком поэтических сил, с другой стороны — отражением его неослабного внимания к газетным новостям. В этом отношении стихотворение это, несмотря на всю его неудобочитаемость, не лишено для нас известного интереса. По форме своей — это чисто политическая басня:

Британский леопард
За что на нас сердит?
И машет все хвостом
И гневно так рычит?
Откуда поднялась внезапная тревога?
Чем провинились мы?
Тем, что в глубь зашел
Степи среди-азиатской,
Наш северный медведь —
Земляк наш всероссийский —
От права своего не хочет отказаться
Себя оборонять, подчас и огрызаться
В угоду друзьям своим,
И хочет перед миром
Каким-то быть отшельником, факиром.
И миру показать, и всем воочию
Всем гадинам степным
На снедь предать всю плоть свою.
Нет, этому не быть! и поднял лапу;
Вот этим леопард и был так рассержон
«Ах, грубиян! Ах, он нахал!»
Наш лев сердито зарычал;
«Как он, простой медведь, и хочет защищаться
В присутствии моем и лапу поднимать,
И даже огрызаться.
Пожалуй, это дойдет до того,
Что он вообразит, что есть [и] у него
Такие же права,
Как у меня, сиятельного льва.
Нельзя же допустить такого баловства».

(Стихотворение напечатано впервые в издании сочинений Тютчева 1900 г. Текст, помещенный там, носит следы редакторской правки. Приводим стихотворение в ином чтении, в основном придерживаясь записи Д. Ф. Тютчевой, сохранившейся в Горчаковском архиве).

«Вирши» Тютчева действительно являются рифмованным пересказом одной статьи «*Journal de St-Petersbourg*» по вопросу русской среднеазиатской политики. По свидетельству И. С. Аксакова Хивинский поход «сильно занимал» поэта «и он с самого начала внимательно следил за ним по газетам» («Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, стр. 316).

Воинственное продвижение русской колонизации в Среднюю Азию немало тревожило английские деловые круги. Известный ориенталист и член индийского совета сэр Генри Раулинсон (ярый враг «расширения России») предсказывал, что русские, дойдя до Мерва, заберут в свои руки ключ от Индии. С 1869 г. возникли переговоры о создании «нейтрального пояса» между русскими и английскими среднеазиатскими владениями. Русское правительство соглашалось признать такой нейтральной полосой Афганистан, но вопрос об определении афганских границ тянулся в течение целых трех лет. Только в январе 1873 г. Россия сделала Англии существенную уступку, признав афганскими владениями две северо-восточные области — Вахан и Бадахшан. Эта уступка «была вызвана желанием» устранить противодействие Англии решенному

тогда же походу на Хиву» (С. С. Татищев, «Император Александр II», т. II, стр. 122).

С этим самым моментом в русско-азиатской политике непосредственно связана та статья в «Journal de St-Petersbourg», которая в глазах Тютчева имела столь выдающееся политическое значение и смысл которой он пытался передать в поэтических образах.

26

А. М. ГОРЧАКОВУ

Дорогой князь,

наиболее досадным в нелепом происшествии вашего крестника с Ляминим¹ я нахожу не самое происшествие, как бы досадно оно ни было, а то заметное старание держать в стороне от этого дела единственного государственного человека, который по своему личному положению, по тому нравственному весу, который он себе снискал, мог бы вмешаться в него с надеждой обеспечить успешное разрешение вопроса.

Действительно одна ваша личность — довод за то, что можно быть влиятельным государственным человеком, оставаясь человеком благовоспитанным, — истина, которую досадно не признать. Одним из наиболее прискорбных обстоятельств является это предвзятое мнение избегать во всех затруднительных случаях привлечения к делу людей, наиболее способных его разрешить, но некоторая независимость ума и характера коих делает их менее приятными правительству и заставляет предпочитать им других, считающих более важным угождать, нежели служить. Я хорошо знаю, что благонамереннейшие предупреждения в подобном случае лишь возбуждают и увеличивают подозрения. Это вечно одно и то же, но такова ведь и человеческая совесть [?].

Вчера вечером меня посетил Бюлер², все еще находившийся под обаянием последней беседы, которую он имел с вами.

Мое здоровье нисколько не улучшается, но не невероятно, что все это не разрешится приступом подагры, чем я был бы чувствительно польщен, ибо это создало бы лишнюю связь между вами и мной³.

Искренне вам преданный

Ф. Т.

Пятница, 9 февраля [1873].

¹ В этом письме идет речь о столкновении московского губернатора П. П. Дурново с новым московским городским головою Иваном Артемьевичем Ляминим. В чем было дело рассказывает в своих «Воспоминаниях» Б. Н. Чичерин: «Новый голова надел присвоенный ему новым городским положением мундир и поехал представляться генерал-губернатору (кн. В. А. Долгорукову. — К. П.). Затем надобно было явиться к губернатору Петру Павловичу Дурново. Лямин спросил у Долгорукого, следует ли ему также ехать в мундире. Долгоруков, который любил, чтобы ему почет оказывался гораздо больший, нежели другим, и который притом с Дурново был в дурных отношениях, сказал, что это будет лишнее. Лямин поехал представляться во фраке. Но Дурново, который не любил шутить и не стеснялся в выражениях своего неудовольствия, так его распек, что растерянный миллионер, не привыкший к такому обращению, тотчас подал в отставку и с тех пор уже в головы не совался» (М., 1934, стр. 178). По тому же поводу Тютчев писал 30 января 1873 г. А. Ф. Аксаковой: «Мы здесь были очень заняты тем, что произошло недавно у вас между г-ном Дурново и московским городским головою. Мне бы хотелось иметь от вас более точные подробности об этом деле; я не понимаю, какую пользу может извлечь правительство из того, что оно будет представлено неблаговоспитанными людьми» (Мурановский архив. — Перевод с французского). Тютчев пытался стихами откликнуться на ссору Лямина с Дурново («Конечно вредно пользе государства...» и «Во дни напастей и беды...»).

² Бюлер, бар. Федор Андреевич (1821—1896), состоял в течение многих лет управляющим газетной экспедицией министерства иностранных дел, и по поручению Горчакова составлял ежедневные политические обозрения для Александра II. С начала 1873 г. занял место директора московского Главного Архива министерства иностранных дел. В дневнике Э. Ф. Тютчевой под 8 февраля 1873 г. отмечено, что у Тютчева вечером был Бюлер и С. А. Феоктистова (Картотека Мурановского музея).

³ В семейном архиве Тютчевых сохранилась следующая записка Горчакова к Д. Ф. Тютчевой на французском языке:

«Мне нет надобности говорить, насколько болезненно я был взволнован известием, которое вы мне сообщили. Ради бога, уведомляйте меня о всем, что у вас будет нового. Если бы я поневоле не был затворником, я был бы у нашего бедного друга. Мне бы хотелось, чтобы он знал это. Г.—Среда».

Очевидно записка эта относится к 3 января (приходившемуся в среду) 1873 г. и послана тотчас по получении известия об ударе, поразившем Тютчева в самый день нового года. Как видно из письма поэта к Горчакову от 9 февраля, последний еще не был в состоянии покинуть свое вынужденное затворничество. Но в дневнике Э. Ф. Тютчевой под 7 марта мы находим упоминание о посещении Тютчева Горчаковым.

27

А. М. ГОРЧАКОВУ

Ежели бы я хотел, князь, удостовериться в вашем скором выздоровлении, я обратился бы к политическому бюллетеню сегодняшнего дня, ибо в самом деле всякий раз, что миру угрожают новые треволения, можно быть почти уверенным, что найдешь вас на ногах и на своем посту.

Я не сомневаюсь в этом и в данный момент, ибо достоверно, что только что совершившееся в Париже придает происходящему в Петербурге значение неоспоримой современности.

И Бисмарк в вашем кабинете — конечно лучший ответ на выборы г-на Бародэ. Хорошо, чтобы в виду этого нового приступа безрассудства, угрожающего этой несчастной Франции, которая повидимому не считает себя еще достаточно уничтоженной, и Парижа, который представляется еще жаждущим петролея, хорошо, говорю я, чтобы в подобный момент наблюдающие умы Европы были вместе и имели возможность действовать заодно. Это как бы естественный конгресс, собранный по определению исторического промысла Европы, и подобный экспромт является счастливым вдохновением, лишь бы только постановка его не подвергла ваше здоровье слишком суровым испытаниям.

Примите уверение в преданности вашего слуги

Ф. Тютчев

21 апреля [1873].

В апреле 1873 г. приезжал в Петербург в свите германского императора Бисмарк, заверявший русские правительственные круги в своих дружеских чувствах к России, а в Париже произошло событие, наделавшее много шума и в самом деле имевшее немалое политическое значение.

Еще в конце марта по поводу ожидавшихся в Париже дополнительных выборов в Национальное собрание «Journal de St-Petersbourg» опубликовал следующую телеграфическую депешу: «Кажется, радикалы серьезно подумывают противопоставить кандидатуру г. Бародэ, мэра Лиона, кандидатуре г. Ремюза» (№ от 29 марта/10 апреля 1873).

«Journal de St-Petersbourg» день за днем отражает партийные страсти, разгоревшиеся вокруг выборов в Национальное собрание. Состоявшее преимущественно из приверженцев монархии, главным образом орлеанистов, последнее не могло спокойно допустить в свою среду именно такого депутата как Бародэ.

Еще с 30-х годов Лион был одним из тех очагов, где бродило, то тлея, то вспыхивая, революционное движение. Первый Интернационал нашел здесь немало сторонников. Республика, возникшая на Седанских развалинах Второй Империи, была провозглашена здесь раньше, нежели в Париже. И наконец восстание 23 марта 1871 г. было прямым ответом Лиона на монархические тенденции Национального собрания. Недалеком выбранный в 1871 г. лионский муниципальный совет состоял исключительно из республиканцев, а различные его мероприятия на самых первых порах поставили его в открытую борьбу с префектурой. Борьба эта, главным предметом которой был вопрос народного образования, в особенности обострилась в то время, когда мэром Лиона стал буржуазный радикал Бародэ. Правые в Париже под теми или иными предлогами не упускали случая выступать против Лиона. 4 апреля (н. ст.) 1873 г. Национальное собрание упразднило тамошний муниципалитет и учредило в Лионе тот же régime d'exercption, что и в Париже. Подобные мероприятия вызвали отпор со стороны радикалов, и 27 апреля (н. ст.) радикализму удалось «лишний раз быть господином в Париже» («Journal de St-Petersbourg» от 17/29 апреля 1873): Бародэ был избран в Национальное собрание. Интересно отметить, что значительный контингент

голосов в пользу Бародэ падает на рабочие массы. Даже «Journal de St-Petersbourg» не смог умолчать истинной причины этого факта: «они голосовали за этого кандидата, — читаем мы в номере от 17/29 апреля, — потому что среди этих масс оставалась еще неутоленная доля ненависти и злопамятства по отношению к «версальцам». Но если выборы Бародэ явились своего рода демонстрацией, направленной против консервативной республики, то решительный удар правительству Тьера, повлекший за собою его отставку, был нанесен с другой стороны — со стороны «правых». В их глазах выборы мэра Лиона были верным признаком того, что Тьер не способен остановить развитие радикализма.

II. ПИСЬМО И. С. АКСАКОВА К А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГУ ¹

28

[Москва, 12 ноября 1870]

Почтеннейший Александр Федорович!

Записку о пражской церкви ² я прочел и не имею сделать никаких замечаний. Я послал ее для прочтения графу Уварову ³, который теперь в Москве, и прочту в нашей Комиссии — и затем поспешу возвратить.

Князю Черкасскому ⁴ я передавал ваше поручение. В ответ на ваши слова, в которых вы говорите, что петербургские газеты отнеслись к делу (т. е. по поводу ноты кн. Горчакова) «весьма прилично», он, с своей стороны, поручает вас спросить, что вы находите приличного в прилагаемой вырезке из «Голоса»? Эта статья толкует декларацию в том смысле, что Россия не только не думает ослаблять силу трактата относительно мер, ограждающих целостность Турции, но готова заменить их другими, которые еще более достигали бы сей цели ⁵.

Неужели вы бы хотели, неужели вы можете предполагать, что Москва и ее печатные органы захотят присоединиться к подобному голосу, — толковать декларацию в таком смысле, приходить в патриотический восторг от новых подтверждений и санкций Парижского трактата в самых существенных его частях?

Я, впрочем, вовсе не защитник статей Каткова, хотя вполне отдаю должную справедливость их искренности и честности, а это теперь тем более составляет заслугу, что Каткову было бы выгоднее писать в ином тоне. Мне казалось бы, что публицисту следовало бы занять господствующую высоту над событием и, признав внешнюю грандиозность и нравственную сторону совершившегося уже исторического факта (декларации), прочесть по сему случаю надлежащий урок и развернуть картину той громадной ответственности, тех обязанностей, которые эта декларация налагает (сама того не сознавая!) на Россию. Но это бы еще менее понравилось в Петербурге! Впрочем, положение редакторов теперь очень мудро. От них требуют выражений патриотического сочувствия и пламенной поддержки правительству, и в то же время посылают какого-нибудь Веселаго ⁶, состоящего при Главном Управлении по делам печати и призвавшего сюда пять дней тому назад, уже после декларации, с официальным секретным (!!) поручением: внушить редакторам, как им писать — «не волновать де народные страсти, не бранить немцев» и проч. и т. п. Вероятно, в Петербурге думают этим способом поддать патриотического пару, но он действует как ведро холодной воды.

Да и вот уже сколько лет сряду наше народное чувство обкачивается студеной водой из Петербурга по всем вопросам внутренней политики, по вопросам окраин, и потому мы, москвичи, стали вообще несколько хладнокровнее и осмотрительнее и при получении декларации пришли прежде всего в недоумение. Да, недоумение — вот то впечатление, которое мгновенно возобладало над первым впечатлением, полстившим чувству народного самолюбия. Я вам говорю не о себе только, но о большинстве московском. Прочтя декларацию, прежде всего спросили себя, что же это значит? Какой объем важности следует давать подобному смелому переходу от политики негативной, уклончивой к политике положительной и даже агрессивной? Стали делать логические выводы и, сообразив все, убедились, что логические выводы из декларации не вяжутся с заключением самой декларации, — что русский кабинет, издав декларацию, откажется или уже отказывается от ее логических выводов. Декларация уверяет, что она не думает

поднимать восточного вопроса, когда она именно его-то и поднимает, и мы знаем что писавшие декларацию в самом деле веруют в правду своих слов, в самом деле и хотят и не предполагают возможным возбуждение восточного вопроса. Декларация для всякого непредубежденного читателя имеет один смысл — вызов к войне. Ну война так война! Но в том-то и дело, что правительство войны не хочет, что оно к войне и готово ни в каком отношении, не имея ни оружия, ни программы (это главное), — что дело пока обстоит в таком виде, что нельзя, по совести, ни желать войны, ни тем менее подстрекать к ней правительство. А если так, если кабинет, издавший декларацию не захочет признать ее логических выводов, то неизбежно такое следствие: мы шагнем на попятный двор, мы постараемся смягчить ее действие, мы дадим новые ручательства в нашем миролюбии, мы дадим себя связать по рукам и ногам в прочих частях трактата или под иным, новым видом. Согласитесь, что такое последствие нежелательно, оно неминуемо и уже дает себя предчувствовать в патриотических статьях ваших петербургских журналов. Таким образом выйдет, что Парижский трактат, уже совсем был обветшавший, совсем было изношенный исторической жизнью, и не в одной какой-либо своей части, а во всей своей совокупности и целостности, будет вновь освежен, подновлен, скреплен, оживет вновь для действительного и позорного для нас своего значения. Что же касается меня лично, то прочитав декларацию я сказал себе тотчас: бедные славяне опять вы обманетесь, опять солжет вам Россия и выдаст вас снова. Я забыл еще упомянуть, что последствием декларации, весьма вероятным, будет не возобновление флота в Черном море, а отсрочка возобновления на новый период времени. В принципе, по жалуй, и допустят отмену этой статьи Парижского трактата ради нового освящения других, не менее срамных статей (напр. уступки территории, гарантии целостности Турции и пр.), но на практике мы сочтем благоразумным или нам посоветуют не заводить тотчас же флота, а погодить... Вот что представлялось здесь уму большей части мыслящих людей в Москве, и я не думаю, чтоб по совести кто-нибудь даже в Петербурге мог противопоставить какое-либо возражение. Вы видите, во всяком случае, что в Москве отнеслись к делу серьезно, как я полагаю оно и заслуживает. Напрасно думать в Петербурге, что уроки истории пропадают для русского общества даром. Оно помнит Крымскую войну, помнит, какими патриотическими восторгами она началась и чем кончилась. С своей стороны позволю себе напомнить вам, что к хвалебным гимнам 1854 года не присоединился тогда из поэтов только Хомяков (я тоже в сих гимнах не грешен) и каким обвинениям в анти-патриотизме подвергся он тогда. Теперь круг понимания значительно расширился и Хомяков не был бы один...

Теперь нельзя уже так легко по известному рецепту вызывать нужные для правительства патриотические восторги, как прежде. Теперь оценка стала серьезней и требования строже.

В самом деле, нас озадачивают внезапно таким правительственным действием, от которого зависят судьбы России, которое имеет непосредственную связь с историческим призванием русского народа, которого успех обуславливается тесным соединением с народом, полнотою национального самосознания, верностью и преданностью началам русской народности. А между тем это действие стоит в прямом противоречии с предшествовавшими и с следовавшими действиями правительства по всем внутренним вопросам, касающимся интересов русской народности. Следовательно, нет существенных условий успеха, да и не видно, чтобы правительство это понимало. Напротив: непонимание, самое упорное непонимание условий успеха при таком решительном шаге, непонимание требований русского народного чувства и презрительное отношение к ним продолжается даже в настоящую минуту.

В Петербурге втировали адрес. Здесь мысль об адресе еще никому и не приходила в голову. Я не знаю, что будет дальше. Ядро здешнего городского общества купечество, не любит идти вторым, вслед за Петербургом, тем более, что тотчас после издания декларации, одновременно с посылкой Веселаго в Москву, было сделано здесь внушение от властей кому следует не возбуждать идеи об адресе (о котором никто еще не думал). А теперь судя по действию Петербургской Городской думы, адреса как бы ожидают. Но ведь

ября 1870. — *К. П.*) — премилое, хотя с его содержанием нельзя согласиться. Что касается до Гильфердинга и приличных статей петербургских газет, то когда будете ему отвечать, потрудитесь спросить его от моего имени, что он нашел приличного в прилагаемой вырезке из вчерашнего Голоса? Душевно преданный

К. В. Черкасский

10 ноября 1870».

Черкасский очевидно имеет в виду передовую статью, помещенную в «Голосе» от 8 ноября 1870 г. (следовательно он ошибся, назвав этот номер «вчерашним»). Приведя ряд постановлений Парижского трактата, касавшихся «ограждения Порты» (в том числе отказ России от исключительного права покровительства восточным христианам), автор статьи замечает, что «Россия не только не думает ослаблять их силу, но не отказывается заменить их другими, которые еще более достигали бы цели, хотя и они, как видим, представляются вполне надежными». Текст декларации действительно давал право делать подобный вывод.

⁶ Веселого, Феодосий Федорович (1817—1895) — член Совета Главного Управления по делам печати.